

Вышка

Повесть

1

ВОЗМОЖНО, я больна.

Возможно, все, что я расскажу, не имело реального подтверждения. Возможно, все это лишь очередной предлог не смотреть в зеркало. Может, я сплю? А может, и нет. В любом случае жалеть не о чем. Некого.

Нужно с чего-то начать... с чего-то начать.
Обратный отсчет, и ты получишь наркоз.

С чего начать? Пожалуй, начну с того момента, как я иду в белой норке по телецентру «Останкино», стук моих каблучков отскакивает от мраморного пола и бьётся об стены большого холла; я поворачиваюсь, чтобы послать воздушный поцелуй Павлову. У меня на пальцах остаётся едва заметный след от губной помады, я улыбаюсь, а он стоит в своём дорогом костюме, белой рубашке с запонками Dior, его руки на талии, он смотрит на меня своими большими грустными светло-голубыми глазами. И я, как всегда, не могу понять, о чем он думает.

Это было похоже на агонию. Долгую, судорожную и липкую.

You gonna lose your soul. Tonight. Tonight you gonna lose control. Tonight. Tonight. Tonight¹.

Может ли человек измениться за несколько дней? Недель? Месяцев? Лет? Что человек способен сделать с собой за это время? Что человек вообще способен изменить, не меняясь при этом сам?

Мир из песен Боба Дилана, фильмов Линча, картин Дега. Меланхолия сменяется наркотическим угаром Хантера С. Томпсона. До. Как реклама «до» и «после». Это «до».

Немного застенчивая, немного милая, немного невротичная и истеричная. Немного художник, немного модель. Походы в магазины одежды с кредиткой родителей, шампанское по утрам. Фильмы в пустом кинотеатре. Приёмы у психиатра, где я сидела в дорогом сером платье, с хорошо уложенными волосами и рассказывала о том, насколько я потеряна в жизни. Слишком самовлюбленно, знаю. Я чувствовала в себе надлом, но не понимала, где он и от чего. Из-за этого все ис-

¹ Песня группы Dead Man's Bones «Lose your soul» (здесь и далее — *прим. авт.*).

кажались. Я была как кривое зеркало. Всё моё существование напоминало комиксы: слишком ярко нарисовано, слишком мало сказано. Слишком бессмысленно. Границы стирались. И ничего не менялось. Облако. Или дым. Я смотрела на свои руки и не могла поверить в то, что это мои руки, не могла поверить в то, что я реальна. Любой персонаж мультфильмов казался мне более реальным, чем моё тело. Его кто-то придумал, нарисовал и дал ему определенную функцию. А я?

Выпуская через ноздри сигаретный дым, я смотрела, как он вьется и исчезает. Мне казалось, что я исчезаю вместе с ним. Отражение в зеркале и мои мысли не повод убеждаться в том, что я — это я и я существую. Я могла не знать, какой сегодня день и даже месяц.

Единственное, что возвращало меня в реальность, — напоминания о днях рождения. *Кто ты? И что ты тут делаешь?*

2

Я ИСКАЛА платье. Вторник, будний день. Витрины, искусственная радость и бесконечный строй манекенов в безвкусной одежде. Я ищу что-то, что меня порадует. Иногда от прыжка с моста меня спасала пара новых туфель. Слишком самовлюбленно. Да, это я. Приятно познакомиться.

В кудряшках и некотором сплине я вышла из торгового центра с пакетами, пальцы перебирали вещи в кармане в поисках сигарет.

Обычно я не слышу, как у меня звонит телефон. Обычно я не отвечаю. И не услышала бы и в этот раз, если бы пальцы не почувствовали вибрацию. Несмотря на то что номер незнакомый, я почему-то ответила. С другого конца на меня обрушился поток бессмысленных слов: что-то связанное с вещанием и дирекцией. Из всего сказанного я понимаю лишь название телекомпании и то, что меня приглашают на собеседование в «Останкино». Мне назначают время, говорят адрес и просят не опаздывать.

Конечно, не опоздаю.

Я кладу трубку, убираю телефон, прикуриваю сигарету.

Когда я хотела найти себе работу, я отсылала им свое резюме. Но к моменту звонка я совершенно забыла, что делала это.



Мимо меня проходили люди. Наверно, многие из них мечтали получить работу в телецентре.

На тот момент для меня «Останкино» было *incognita terra*. И мне казалось, что это должно быть как минимум забавно. Да... именно забавно.

Мне сказали лишь то, что я должна буду находить сюжеты и снимать их. Ничего подобного я раньше не делала, но каких-либо трудностей я в этом не видела. Пока.

Найти сюжет, снять его — два этапа, всё просто. И я уже представляла себе, как я стою с микрофоном и болтаю что-то монотонным голосом, а мускулистый оператор в кепочке, с зубочисткой в уголке рта, направляет на меня объектив. Всё это было интригующе. И это самое главное.

Единственная профессия, к которой я испытывала отвращение, — это профессия журналиста. О них говорят много и ничего хорошего. Помимо крепкой нервной системы, журналист должен обладать хроническим чувством превосходства над окружающими; он должен чувствовать себя всегда везде уместным; в его гардеробе обязательно должен быть латексный костюм, чтобы пролезать в любые щели человеческого подсознания. В такие щели, куда даже потенциальный персонаж сам бы никогда не забрался. Для них существует только конечный

продукт, а средства могут быть любыми. Журналисты — это люди, которые для достижения цели наврут вам что угодно, представятся следователями и трубопроводчиками. Нет, они не скажут вам этого напрямую, но *заставят* вас думать так, как они этого хотят. При этом никто из них ни разу не нарушит закон. Вы думаете, что они ангелы, посланные с небес, чтобы разрешить все ваши проблемы по средствам съёмки сюжета. Они обещают вам деньги, спонсоров и собственную почку. И никто не может сказать, что они этого не сделают. Они могут раскрутить бизнесмена на рассказ о том, как он снимал шлюх в Сингапуре, они могут заставить мужа признаться в измене, и они будут снимать слёзы и отчаяние жены.

Я до сих пор их недолюбиваю. НО. Но их мастерство манипуляции заслуживает аплодисментов.

Я никогда не хотела работать ни журналистом, ни корреспондентом, но, когда тебе звонят из телецентра «Останкино», отказываться глупо. И моё патологическое любопытство говорило, что эта поездка должна поднять мне настроение больше, чем новое платье.

3

МНЕ БЫЛО ЛЕТ пятнадцать, когда я решила оставить свою школу и пойти в гимназию с гуманитарным уклоном. Для моих родителей всё должно быть предельно чётко, никаких творческих беспорядков в голове — идёшь в гуманитарии? Хорошо. Кем ты хочешь быть?

Кто я?

Будь собой.

Как? Скажи мне, Тиресий, что такое «быть собой»?

— Ты же хочешь стать журналистом! — обратился ко мне отец. Я даже не поняла: вопрос это или утверждение.

Разозлилась ли я тогда? Да. Это было личным оскорблением моих эстетических и моральных принципов:

— Да ни за что! Я пишу, чёрт возьми! Я ненавижу журналистов и никогда, никогда не стану такой крысой!

Максимализма у меня было предостаточно. Все говорили, что это подростковая черта, но я

сомневаюсь. Пубертатный период со всеми его прелестями я, конечно, пережила, но вариаций цвета у меня не появилось: либо чёрное, либо белое. Скажем так, это априори не свойственная журналисту черта.

Я была проблемным подростком, почти как в сериале *Skins*. Проблемы в школе, проблемы с общением. Проблемы с преподавателями. Агрессивность, побеги из дома — об этом всё я знаю не из фильмов о бунтующем молодом организме. Но надо отдать мне должное, я никогда не врала ни родителям, ни кому-либо ещё, и это, я думаю, было единственным моим плюсом. Ложь вызывала у меня отвращение, а в остальном я была маленьким озлобленным существом, которое ненавидит весь мир и которое спасается от него своей фантазией. На уроках я читала Кинга и слушала панк-рок. Моим кумиром и практически богом в то время был Сид Вишес. Глупо, я знаю, ставить себе в пример двадцатиоднолетнего наркомана, не собирающегося доживать до двадцати пяти. Почему именно я родилась в этой семье?

По всем законам я должна была быть милой девочкой в балетках, с аккуратной причёской, у которой уроки выполнены на неделю вперёд, которую любят преподаватели и сверстники, у которой голова как стеллаж с ровными полками. А может, я и на самом деле была такой? А не асоциально-депрессивным существом в рваных кедах, с синими волосами, которое тихо мечтает разрядить автомат в эту тупую суку, зажавшую правильные ответы на контрольной?

Любили ли меня родители? Да. У них просто не было выбора. И я ценила это. Ценила и чувствовала себя лишней. Мне всегда казалось, что они хотят видеть меня другой.

Видеть, как я оканчиваю с отличием школу, поступаю на юридический, становлюсь адвокатом, выхожу за идеального мужчину, которому впоследствии рожаю идеальных детей. И все мы живем в идеальной квартире долго и счастливо.

Сказка. Мечта!

Эта сказка пугала меня тогда. Пугает и теперь.

До двенадцати лет я была нормальным ребёнком. По крайней мере, так выглядела. У меня были подружки, я одевалась как девочка, играла в куклы, и у меня в комнате висел постер с Барби.

Но все заканчивается. И не всегда сам человек подводит черту.

Замыкание.

Замыкание — это особый вид функции. Она определена в теле другой функции и создаёт каждый раз... замыкание — это электрическое соединение двух точек электронной цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.

Замыкание.

Это когда ко всему окружающему ты испытываешь тошноту и злость. Когда ты перестаешь слушать, прислушиваться, доверять. Когда ты беспомощен и всё, что в тебе есть, — это ком, похожий на слипшуюся изжёванную жвачку. Паника. Которая загоняет тебя в угол собственного подсознания. Паника оттого, что ты не представляешь даже на одну сотую процента, что происходит. И в твоей голове. И вне её.

Забавно, что мои родители могли мне помочь, но не помогли... А теперь мои походы к психиатру влетают им в крупную сумму. И я думаю, что психиатр ни хрена не помогает, но я продолжаю к нему ходить потому, что я слишком самовлюблённа и мне нужно рассказывать кому-то о том, что творится в моей голове; и чтобы кто-то выписывал таблетки.

Да, я плачу деньги, чтобы говорить о себе. Вообще, психологи, психоаналитики, психотерапевты мне всегда напоминали проститутку: берут почасовую оплату, чтобы удовлетворять тебя орально.

3,5

ИДЕАЛЬНЫЕ СЕМЬИ. ЯЧЕЙКА общества. Клетка организма. Идеальная клетка, порождающая идеальный по функциям организм. Но здоровое тело не всегда предполагает здоровый дух.

Так что такое идеальная семья?

Роскошная квартира в центре, Mercedes и BMW на парковке, всеобщее уважение на работе. Любящая жена, остроумный муж, красивая дочь. Пикники, улыбки, ужины, сервировка, богемское стекло, шампанское, конечно, «Кристалл». Идеальная жизнь.

Идеальная семья с обложки. Может, нам завидовали. Может, кто-то хотел жить *нашей* жизнью, думая, что у нас всё как в американских комедиях 50-х.

Но сервировка убиралась, а богемское стекло разбивалось.

Дочь затыкала уши, чтобы не слышать крика родителей. Чтобы не слышать, как отец оскорбляет последними словами ее мать. Ее хрупкую, нежную маму, которую нужно не просто беречь, а носить на руках. Потому что именно благодаря ей их семья имеет все.

Дочь сжимала кулачки и от отчаяния могла отхаркнуть собственное сердце, которое в такие минуты занимало 90 % тела. Она молчала, думая, что так будет лучше. Она убеждала себя, что у неё какое-то психическое заболевание, что у неё рак или что угодно. Тогда то, что она видела своего отца с одной любовницей, другой любовницей, третьей любовницей, можно было списать на бред, галлюцинацию. Проще было убедить себя в болезни, нежели поверить, что мир, в котором она родилась, — фикция.

Все лгут.

И ребенок не обязан это знать.

Он должен сам соврать, он должен испортиться естественным образом. Он сам должен извлекаться в грязи, когда вырастет. Может, тогда все это станет ему более понятным?

Отчего возникает рак? Генетика, предрасположенность. И оказывается, что здоровые клетки не такие уж и здоровые.

Ты можешь убедить себя в том, что у тебя что-то не так с головой. Ты можешь по-прежнему любить своего отца. И ты можешь ждать. Ждать заботы, ласки, ждать чего-то, что напомнит тебе, что он — твой отец. Но ключевым словом останется слово «ждать».

Ждать, когда тебе, как щенку, кинут поощрительную кость. И ты радостно пускаешь слюни. Ты рад тому, что отец предложил помочь убратся в его гараже. И ты придаешь этому огромное значение. Ведь гараж для него личное пространство, и вдруг посредством этого ты станешь ближе к нему. Хотя бы на сантиметр.

Мне всегда хотелось, чтобы ОН научил меня играть в футбол, а не мальчишки во дворе. Мне хотелось починить велосипед вместе с НИМ, а не с всё теми же мальчишками. Мне всегда хотелось, чтобы ОН спрашивал у меня что-нибудь, чтобы ОН слушал меня, чтобы советовал мне. Если бы я была мальчиком, наверно, всё было проще. Но он меня любил и любит, я знаю. Я надеюсь. Я не знаю...

В тот вечер... прошло уже больше десяти лет, а я до сих пор помню год и число. Помню, как стрелка на часах стукнула и приблизилась к девяти вечера. Помню запах жареной картошки с грибами. Помню во что я была одета: бермуды цвета хаки и бежевая футболка с Человеком-пауком. Помню тусклый свет в своей комнате и грустные глаза плюшевой собаки. Помню наши застывшие счастливые лица на фотографиях, сделанных в путешествиях.

Но я никак не могу... я не могу... вспомнить... *что вспомнить?* Что вспомнить? Я не могу вспомнить когда... *когда что?* Когда я в последний раз назвала его папой...

4

Я ПРОСНУЛАСЬ. Проснулась? Да. Почти. Мм... вот сейчас точно.

Утро четверга.

Я действительно не хочу опоздать. Макияж, укладка и кружевное белье. Выбрано подходящее платье, выбраны подходящие каблуки. И вот я уже скольжу по замерзшим декабрьским лужам.

И, конечно, я опоздала.

Я ждала около пропускного бюро.

17-й КПП. Слишком шумно. Слишком много людей. Я задумалась о том, зачем я вообще согласилась?

Через 15 минут у меня начали дрожать руки, ныть ноги, захотелось выпить и плюнуть на идеальную осанку. Мимо проходили техники и операторы, рядом топталась кучка ребят, которые тоже были приглашены в качестве корров на «Обвинительное заключение».

Через десять минут за нами спустилась женщина лет тридцати пяти — Наталья. Она оформила мне и другим стажерам пропуска, и, пройдя 17-й КПП, мы отправились в «Останкино».

Все шли так быстро, и я, не успевая за ними, семенила мелкой дробью. Губы дрожали, зрачки расширились, как от возбуждения. Потому что в этот момент я испытывала именно его.

Я помню, как я первый раз поднималась по одиннадцати ступенькам, как открылись большие стеклянные двери с надписью «Останкино». Далее — 2-й КПП. По длинному узкому ко-

ридору с фотографиями актеров на стене, мимо кофейни. Я помню, как я в первый раз иду по большому холлу с креслами и маленькими чёрными столиками, как поднимаюсь по лестнице и сворачиваю налево, где последний КПП и дверь с надписью: «Дирекция общественно-правового вещания. Телекомпания МТВ. Программа „Обвинительное заключение“». За дверью оказался небольшой холл с кожаным диваном, в конце которого, справа, находилась редакция. Наталья сказала нам снять верхнюю одежду и подождать.

Пока мы раздевались, из соседней двери вышел мужчина и сказал идти за ним и исчез.

Куда идти? Что делать? Мы опасливо ходили по узкому коридорчику, заглядывая в приоткрытые двери. Мужчина вернулся и раздражённо повторил свою предыдущую реплику. Выйдя обратно в холл, все мы расположились в кафе. Мужчину звали Роман Павлов, и он был редактором программы. Как я уже сказала, рост 177 примерно, лицо серьёзное, рубашка белая, последняя пуговица около воротника расстёгнута, брюки светло-серые. И глаза. Большие, светло-голубые и болезненно грустные.

Уточню: это было собеседование. Я побывала на нескольких, и моё понимание слова «собеседование» включало в себя нечто большее, чем просто вопрос: «Все смотрели “Обвинительное заключение”»?». Да, да. Мы кивали головами.

— Так, — он обратился к девушке, которая сидела справа от меня, — какой сюжет вы видели?

— Ну, я... не смотрела, но понимаю, в чём суть программы.

— Тааак. Вы? — он кивнул на парня, который нервно жевал жвачку.

— Я смотрел передачу про Матрёну.

— Матрону, — поправил его редактор. — Ну и что вы конкретно видели?

— Ну там рассказывалось про Матрёну...

— Матрону! Святая такая! — оборвал его Павлов. — Как я понимаю, никто ничего не видел?

Он поочерёдно стал обращаться к оставшимся потенциальным стажёрам:

— Вы?

— Нет.

— Вы?

В ответ он получал робкое мотание головой.

— Вы? — он кивнул на меня.

— Аналогичная ситуация, — ответила я спокойным и немного безразличным тоном,правляя причёску.

— Так. Вот как мы поступим. Сейчас вы садитесь за компьютеры и смотрите какой-нибудь выпуск. Смотрите внимательно, въедливо, не пропуская ни одной детали. Иначе вы не пройдёте собеседование.

Это самое странное собеседование, на котором мне приходилось бывать. Никто не спрашивал, кто ты, где ты учишься или учился, где работал, сколько тебе лет, и даже не спрашивалось твоё имя. Это просто было не важно. Важен только тот факт: можешь ты тут работать либо нет. Вечером того же дня я пойму, что журналисты от этой программы ничем не отличаются от персонажей: и те и другие — расходный материал. Тебя любят, пока ты снимаешь хорошие сюжеты, а когда тебе сносит башню нервным срывом — всем на тебя не то чтобы наплевать... тебя просто увольняют.

Вернувшись в редакцию, мы уселись за свободные столы. Все сотрудники разговаривали по телефону громко и разом. По редакции бегала девушка с нежной внешностью, пытаясь заставить работать компьютеры (в телецентре «Останкино» не работают компьютеры? Серьёзно?). Мой не хотел включаться, и я подседа к другим стажёрам, внимательно наблюдая за обстановкой в редакции.

Некоторые факты стали для меня яснее после принятия «Имипрамина». Например, зачем одна из корреспонденток обсуждает с кем-то по телефону взаимоотношения с парнем.

Что вообще тут происходит?

Чуть позже я пойму, что она говорила с персонажем, пытаясь выяснить у него подробности для построения сюжета: кто с кем спал, кто кого бросил, кто от кого залетел и какая марка презервативов так подвела. Вся та грязь, которая выливается в конце, обусловлена заранее.

И «неожиданные» повороты сюжета спланированы журналистом, который всего лишь выполняет свою работу.

Павлов уселся за свой стол, развалился в кресле, надев большие наушники, совсем не замечая нашего присутствия.

Я не выспалась, меня периодически клонило в сон за просмотром «Обвинительного заключения». Это оказалась одна из типичных эмтэвэшных программ. Мы смотрели последний выпуск

про жену бизнесмена, которая пыталась его убить.

Полный и лысый ведущий программы резко жестикулировал и драматично делал паузы. Я не люблю такие программы. Никогда не любила и не полюблю. Как и большинство людей, я никогда не задумывалась над тем, как именно они делаются. Не задумывалась над тем, как сильно выворачиваются кишки и как добывается всё это рейтинговое дерьмо.

Было очень шумно, звук у нашего компьютера оставлял желать лучшего и половину из того, что говорят герои, мне приходилось домысливать. Суть я поняла, программа закончилась, и наши взоры обратились к Павлову. Он быстро скинул наушники. Мы столпились вокруг его стола и ждали инструкции: что нам делать? Это было самонадеянно, поскольку изначально было ясно, что никто никаких подробных инструкций давать не будет. Павлов ограничил свою речь общим рассказом о программе. Я его не слушала. Мне было любопытней следить за его мимикой и жестикуляцией. И я поймала себя на мысли, что я действительно испытываю возбуждение — это был побочный эффект «Имипрамина». Или...

— То, что вы сейчас посмотрели, — это шедевр. Этот бизнесмен реально серьёзный мужик, и раскрутить его на откровенное интервью было сложно, но... — дальше он опять жестикулировал, закатывал глаза, а я стояла и чувствовала, как волна приятной дрожи идёт по моему телу. И это не было побочным эффектом «Имипрамина».

Павлов совершенно не старался выглядеть приветливым. И это было, по крайней мере, честно. Отношения между стажерами и их программой напоминали секс без обязательств. И это Павлов дал понять в самом начале.

— А где искать сюжеты? — спросил парень с жвачкой.

— Везде, — ответил Павлов. — Где хотите. Конечно, вы можете найти статью, но лучше если вы поговорите со следяком или опером каким-нибудь. Вот телефоны, прозванивайте.

Что ж. Здорово. Мы находились в совершенной дезориентации. Что искать — непонятно. Где искать — вообще непонятно. И что делать с найденными историями дальше?

— А когда можно приступить? — Мне не хотелось делать это прямо сейчас, мне нужно бы-

ло время подумать, как действовать, покурить, поесть, понуть, выпить кофе, понуть, посмотреть серию «Клиники», понуть, дожидаться вечером моего архитектора, чтобы обрушить на него кучу вопросов.

Мы, стажеры, ходили на запуганных кроликов или подопытных крыс, которых загоняют в лабиринт и смотрят — найдут ли они выход.

Я была спокойна. Даже слишком. Но, если бы не колесо, которое уже растворилось в моём желудке, всосалось в кровь и блокировало лую панику, я бы давно уже сбежала и в поту блевала в туалете. Я была спокойна, но подсознательно понимала, что нахожусь в состоянии близком к панике.

— Прямо сейчас! А вы не можете?

— Ну... — я улыбнулась, — конечно могу.

Господи, что я делаю?! Какое «могу»?! Беги, беги, пока тебя не съели!

— Отлично! Всем всё понятно?

— Мне всё понятно, — спокойно и опять-таки безразлично ответила я за всех. Павлов посмотрел на меня, я приподняла одну бровь.

Что я несу?! Мне вообще ничего не понятно!

Что я тут делаю? Что я хочу этим доказать и кому?

Я не могла сосредоточиться. Я не могла дышать. Я... я... в таблетнице их было несколько. Белая, чёрно-зелёная и зелёная. Взяла ли я ту? Или... нет. Нет. Твою ж мать.

Я почувствовала, как у меня дрожат колени, как трясутся руки, как мои губы кривятся, на виски давит. Мне не хватало воздуха, звуки вокруг стали сначала слишком громкими, затем превратились в гул, который смешивался, и уже невозможно было разобрать ни голосов, ни слов, ни тембров. Я почувствовала, что меня сейчас вырвет. Повернув голову, я начала искать дверь. Но мой взгляд упёрся в зеркало.

Что?

Я стояла там совершенно здоровая. Без дрожи, без помутнения. Я просто стояла и смотрела на себя, приподняв одну бровь и скрестив руки.

Кто это был?

— И вы старайтесь подумать. Если вы хоть чуть-чуть подумаете, — он прищурился, — то вы обязательно найдёте ответ. Если вы хоть немного пошевелите мозгами.

Думать? Думать? Думать... что это? Думать, когда ты в полнейшей дезориентации? Но, с

другой стороны, меня там никто не держал. Я могла развернуться и уйти. Но.

Я не хотела. Это был интерес. Нездоровый и ноющий. Что там за гранью зеркала? Кто там *может оказаться?*

Мы стояли молча. Только парень с жвачкой как-то нервно повторял: «Отлично, отлично». Я подумала, он единственный знает, что делать, а я вылечу отсюда сегодня же.

— Так. Садитесь за свободные столы — и вперёд! Найдёте историю — подходите ко мне.

Я села за стол, находящийся за большой пальмой. Отлично, меня никто не видит, никто не слышит. Отлично, отлично.

Я открыла «Яндекс». О боже мой! Где искать эти чёртовы истории? Где, мать вашу?! У меня хватило фантазии только на то, чтобы позвонить маме.

— Mam, а у тебя нет знакомых в московской полиции?

— А что случилось?! — за этим вопросом стояло: у тебя нашли травку? Ты сбила человека? Отобрала у ребёнка мороженое и его отец попытался тебя изнасиловать? Я уже вылетаю, рейсом 108. Не клади трубку, я уже вылетаю!

— Да всё нормально, просто мне нужно найти какую-нибудь историю. Я в «Останкине». Помнишь, я вчера тебе говорила...

— О... — облегчение. Мама выдохнула и мысленно распаковала чемодан. — Ну, у меня нет знакомых, но я могу поискать. Я поищу и тебе перезвоню. Хорошо?

— Хорошо.

И так я осталась один на один со своей паникой. Третьим в нашей компании был «Яндекс» с пустой поисковой строкой. В таком состоянии я пробыла два часа. В оцепенении.

Уйти я тоже не могла.

Наконец я решила вбить в поиске «убийство из ревности». Ах да. Нужна Москва и Московская область. Так, так. Пенза, Ростов-на-Дону, Иркутск. А вот. Вроде бы ничего... Так-так. Мужчина из ревности к своей сожительнице убил двоих её детей, расчленил и закопал в огороде... Боже мой... Я посмотрела на других стажёров. Они сидели, как и я, приклеенные к креслам, глядя в монитор. Я выглянула из-за пальмы и посмотрела на Павлова. К нему подходили работники, что-то рассказывали. Каждый из них робко стоял около стола. Он кричал

и матерился, размахивая руками. Я подумала, что ему не повредит «Новопассит».

Ну что ж, страшновато, да. Но нужно хоть что-то ему показать. Тем более я буду первая из нашего потока. Постукивая ногтями по столу, я развернула кресло, оттолкнулась руками, встала. Не слишком быстро и не слишком медленно, мои каблуки словно отбивали дробь в «Рассказе о семи повешенных», я подошла к нему.

Его стол находился за серой пластиковой перегородкой. Я встала, одной рукой уперлась в эту перегородку, другую положила на талию. Вызывающая поза для самозащиты. Выглядеть наглой лучше, чем неуверенной и смущённой. Тем более у меня грудь недостаточно большая. Он перевёл взгляд с монитора на меня. Я представила, будто затягиваюсь сигаретой и выпускаю дым:

— Я нашла одну историю.

— Отлично. Что за история? — У него был приятный голос. Немного хрипловатый, среднего тембра.

— История о том, как мужик убил из ревности к своей сожительнице детей... её детей, расчленил и закопал на заднем дворе.

Павлов положил локти на стол и приложил указательные пальцы к губам.

Мне казалось, что сейчас он пошлёт меня. Скажет, что в этой истории слишком много насилия и моё нездоровое видение сюжета никого не интересует. А сама я — некомпетентная маленькая дурочка, которая не сможет тут работать и шансов у меня вообще нет. Вот сейчас скажет. Я смотрела на него, стараясь придать себе как можно больше безразличия. Наверно, он сейчас подбирает самые крепкие выражения для того, чтобы послать меня, думала я.

— Хорошая история, — наконец выдал Павлов, — хорошая.

Мои брови поползли вверх. Волна повседневного цинизма привела меня в замешательство.

— Но, — сказал он с обыденной грустью, — мы не можем снимать про детей. Вышел закон, запрещающий это. История хорошая, да, но...

— Детей не трогать, — перебила его я.

— Да, детей не трогать.

— Понятно.

Я развернулась в сторону своего стола. Так же не быстро и не медленно пошла обратно.

Прошёл ещё час. Никто из стажёров так и не пошевелился. Мне хотелось курить и есть. Но

денег у меня не было и сигарет тоже. Я подошла к другим кроликам, спросить курят ли они. Выяснилось, что парень с жвачкой курит. Мы отправились с ним в холл.

У парня с жвачкой была пачка красного Marlboro. На голодный желудок это было особенно убийственно. У меня тут же закружилась голова, но, не теряя самообладания, я начала расспрашивать о том, что он нашёл. Ничего он не нашёл. Он работает в газете, пишет про неизвестные группы и собирается сказать, что поехал в следственный отдел, брать интервью по делу, чтобы смыться отсюда поскорее. Хорошая мысль. Но не прокатит. После трёх часов дня я оставила надежду уйти до обеда. Хочешь уходить — иди. Только завтра на тебя пропуск выписывать никто не будет.

У меня совсем закружилась голова, я пошла обратно, ошиблась дверью, поймала на себе озадаченные взгляды, прошла мимо охранника, открыла дверь и вновь очутилась в редакции. Уйти сейчас значило бы для меня поднять лапки. А этого я делать не люблю.

5

КОМПЛЕКС МАЛЕНЬКОЙ девочки во мне с самого детства. Единственная дочь, самая младшая из внуков, самая младшая из племянников. Меня всегда окружали большие дяденьки и тётеньки, которые относились ко мне, как к конфетке в розовых рюшках. Сашенька самая маленькая. Сашеньке достаётся все самое лучшее: лучшие игрушки, лучшие платья, лучшие туфельки. У мамы на работе Сашеньке дарили конфеты и шоколадки. Сашеньку баловали все и постоянно. Хотя детство у Сашеньки было весьма специфичное: мама работала по двенадцать часов в сутки и Сашенька оставалась одна дома. Наступали выходные, но маме нужно было забежать на работу, совсем ненадолго, но это «ненадолго» занимало всю субботу. Мама брала Сашеньку с собой, а Сашенька брала с собой плюшевого оленёнка. Они открывали дверь суда. Запах бумаги и эхо от шагов. Мама шла в свой кабинет, а Сашенька, пользуясь случаем, брала ключи и открывала зал заседания. Там она сидела по очереди в больших креслах судей, рассматривала герб и флаг. Но больше всего ей нравилось сидеть в кресле прокурора. Оно было таким мягким, красным и могло вертеться. Потом Сашенька брала своего розового оленёнка и

забиралась в клетку, где держат заключённых. Приходила мама, негодовала из-за того, что Сашеньке тут не место, что она может подцепить какую-нибудь заразу, и уводила Сашеньку за ручку из зала заседания. Мама Сашеньки была молодой судьёй. Она была такая красивая, нежная, с такой белой кожей и ласковыми-ласковыми глазами. Когда Сашенька выросла, она никак не могла понять: как тридцатилетняя, такая ранимая женщина могла работать судьёй? Неужели голос, который поёт ей колыбельные по вечерам, днём зачитывает приговор убийцам, насильникам и ворам?

Сначала Сашенька была дочкой милиционера. Потом дочкой следователя и бандита. Потом дочкой судьи и предпринимателя. Карьера у Сашенькиных родителей менялась. Когда мама Сашеньки только начала работать судьёй, папа решил их бросить ради какой-то женщины по имени Жанна. И они остались вдвоём. Квартиры они тоже лишились, поскольку её пришлось продать, чтобы оплатить долги папы. Если бы они не отдали деньги, возможно, их бы уже давно убили, ещё году в 94-м. И им пришлось жить в дешёвой гостинице. Там было две комнаты и камин. Точнее, имитация камина. Денег тогда едва хватало, но Сашенька об этом не подозревала. Ей через день по-прежнему покупали игрушки и киндер-сюрпризы.

В то время Сашенька с радостью восприняла переезд, не расстраиваясь из-за того, что папа не живёт больше с ними. Маленькая Сашенька, не знающая ещё ни о чём. Хорошо быть маленькой Сашенькой.

Помыкавшись по съёмным квартирам и комнатам, потрахавшись с Жаннами, Аннами и Виолетами, папа Сашеньки решил, что ему всё-таки нужно вернуться в семью. Мама Сашеньки шла с работы, когда увидела своего мужа. Он стоял, облокотившись на фиолетовые «жигули». Ждал её. Они долго сидели в баре, который находился на первом этаже гостиницы. Мама Сашеньки решила, что даст ему шанс. Когда маме Сашеньки дали квартиру, папа снова стал жить с ними.

Я смотрела в окно и думала. За стеклом мокрый снег мешался с выхлопными газами, рабочие перебирали металлолом. Небо серое, свет серый, серый асфальт и яркие рекламные щиты.

Я больше не хочу быть Сашенькой. Я больше не могу быть Сашенькой.

Я посмотрела в сторону зеркала. Она бы ушла. Значит, мне нужно попытаться.

Я выпила нужную на этот раз таблетку и начала искать истории, истории, истории.

Про расчленёнку, изнасилования, убийства. Убийства... убийства... и ещё раз УБИЙСТВА. О. Вот. Если прошла предыдущая моя история, может, Павлову понравится и эта. Я опять подошла к нему:

— Как вам такая история: двое иммигрантов зверски убивают женщину, у которой снимают квартиру. Они горло ей перерезали.

— Ну, нееет, — Роман Петрович поморщился, — они просто маргиналы. Тут никакой драмы человеческой нет, ничего интересного. Вам было бы интересно смотреть про такое фильм?

— Ну, если бы его снял Дэвид Линч...

— Линч бы не снял про такое фильм, он же нормальный человек...

— ...Да... я бы не сказала, — я улыбнулась. Наверно, Павлов не был знаком с биографией Линча. — Он шизофреник. Неважно...

— Он бы не стал снимать про такое фильм.

Мне хотелось поспорить. Но вместо этого я стояла и сдерживала улыбку. Меня веселила его эмтэвэшная манера речи и то, как он произносил «интриги, скандалы...», хотелось вставить «расследования». Павлов опять жестикулировал, как пьяный итальянец, говоря громко и с матом. Интересно, он всегда такой возбуждённый? Хотелось уже впихнуть в него ложку «Новопассита» насильно.

— Да. Я все поняла. Никаких детей и маргиналов.

Через час Павлов, проходя мимо, очень настоятельно посоветовал нам: «Вы прозванивайте. ПРОЗВАНИВАЙТЕ. Глядя в компьютер, вы ничего не найдете». Это «прозванивайте» я буду слышать очень часто. Чаше, чем любые другие слова. И моя поисковая строка на следующие несколько месяцев будет терпеть извращения в последней инстанции. «Кровавая драма» — станет только разминкой. «Брат убил брата и отрезал ему член за то, что он изнасиловал сестру» — вот это в самый раз.

Чуть позже я нашла ещё одну историю. Может, вы читали о ней в прессе: друг директора мебельной фабрики убил его из ревности к женщине. Застрелил из самодельного ружья. Павлов спросил у меня, сколько лет персонажам, попросил распечатать статью, пробежался по ней глазами и с всё той же повседневной гру-

стью сказал мне прозванивать. Я задала свой первый корявый вопрос:

— А куда мне звонить?

Он закатила глаза и покачал головой:

— Кхм... — прищурился. Встал. Он был одного роста со мной, но, учитывая мои пятнадцатисантиметровые каблукки, он казался ниже. Несмотря на это, Павлов умудрялся смотреть на меня сверху вниз. — А вы подумайте, — он сунул руки в карманы брюк.

Я сделала вид, что думаю. Но о чем думать, если я не знаю? «Так он ждёт от меня ответа, нужно что-то сказать... так, так, так». Я вскинула голову, сдула прядь волос, вспомнила, что я всё-таки выше, и, подражая его манере активно жестикулировать, сказала:

— Я бы позвонила в редакцию газеты и нашла бы журналиста, который писал эту статью, выяснила бы у него подробности дела, и, возможно, у него есть контакты персонажей.

— Да... — протянул Павлов, глядя в сторону, — так тоже можно сделать. Но это выжимка из статьи, скорее всего с какой-нибудь ссылкой. И это вам ничего не даст. Вам лучше позвонить кудааа?

Вариантов у меня не было. Хорошо, милый. Этот раунд ты выиграл.

— Я не знаю, — ответила я, вспомнив в этот же момент, что у меня волосы слишком кудрявые и грудь маленькая.

— А если подуммааать? — он сказал это совершенно беззлобно, без тени иронии, и даже на секунду мне показалось, что он правда хочет помочь мне.

— Я, правда, не знаю... — сказала я тихо, сведя брови и надув губы.

Павлов посмотрел на меня и улыбнулся:

— В пресс-службу вам нужно звонить. В пресс-службу. Хотя нет, лучше туда не звоните, они заставят вас отправлять им факсы, официальные запросы, и хрен там дождёшься ответа. Позвоните лучше следователю.

— Хорошо, Роман Петрович...

Я хотела что-то ещё спросить, но не успела — он быстро сел и надел свои смешные наушники. Увидев, что я все ещё стою, он вопросительно посмотрел на меня, потянулся к наушникам, чтобы их снять. Но я замахала руками и улыбнулась.

Я вообще не умею улыбаться, если не хочу. У меня получается не улыбка, а саркастичная гримаса. Но ему мне хотелось улыбнуться. На мой флирт он отвечал достаточно неуклюже.

Найти телефон следователя было не так сложно, как ему позвонить. Хотя что тут сложного: поднять трубку, набрать номер и спросить, как я могу связаться с тем-то следователем. Ничего сложного. Но сам факт того, что мне придётся говорить с начальником следственного управления по городу Москве, заставлял меня немного нервничать. Около получаса я смотрела на выписанный номер и царапала на жёлтом листочке то, что я хочу спросить. Несмотря на то что моё детство прошло в окружении ментов, следователей, прокуроров, адвокатов и судей, я совершенно не знала системы производства дела и понятия не имела, как с ними общаться на профессиональном языке.

Стрельнув очередную сигарету, я вышла в курилку, решив, что убийственная доза никотина поможет мне набраться смелости. По крайней мере, тогда желание блевать у меня будет сильнее, чем желание робеть. Дойдя до нужной кондиции, я вернулась в офис, взяла телефон. Так: 8(495)35-73-83... О чёрт, нет. Пошли гудки, и я бросила трубку. Ещё раз. Номер набран, гудки идут, на часах почти 4 дня. Мне ответил дежурный. Из своего набора голосов я выбрала самый спокойный и низкий по звучанию:

— Компания МТВ, программа «Обвинительное заключение». Мне нужно выяснить обстоятельства дела, — я описала ему всю картину убийства директора.

— Эхм... а что? Зачем вам?.. — голос в трубке был слегка растерян. Я буду часто впоследствии слышать растерянные голоса и вспоминать свой первый неловкий пассаж на тему документальных фильмов.

— Мы бы хотели снять фильм... документальный.

— Аа... это вам к начальнику нужно.

— Хорошо, не подскажите номер?

Я позвонила по номеру, который он мне дал, но у начальника, судя по всему, рабочий день уже закончился. Я пыталась дозвониться несколько раз, но без результатов.

Рассказав о своих успехах Павлову, я не ждала, что он погладит меня по головке. Он резко спросил, с кем я говорила.

— Как? Вы не знаете, с кем вы говорили?! Это как вообще?

Я стояла, сжав пальцы.

— Откуда вы берёте информацию? Из какого источника? Как вы собираетесь работать, если не знаете, с кем вы говорили?

— Ну. Это был. Дежурный. Он дал мне номер...

— КОГО? Чей он номер вам дал?

— Начальника...

— Начальника чего? Ох, господи... — он провёл ладонями по лицу. Оглядел меня и махнул рукой в сторону моего стола. — Идите... и узнавайте имена тех, с кем вы говорите.

Я молча пошла обратно. С первого же дня мне стоило бы привыкнуть к тому, что моя самооценка будет находиться в состоянии перманентной заниженности. Павлов делал это настолько часто, что мне казалось, что это его основная работа.

Час спустя я услышала, как другая стажерка говорит с кем-то по телефону о моем персонаже. Я посмотрела на Павлова. Почему он отдал ей мою историю? Чертовски мило сталкивать лбами стажёров. Видимо, наличие этических принципов не прилагается к трудовому договору.

Я продолжала пытаться найти хоть что-то по своей истории, несмотря на то что ей занимается другой стажёр. И только через час из кабинки Павлова послышался голос:

— Девочки! Стажёры! Как вас, кстати, зовут?

— Маша.

— Александра.

— Так, Маша и Александра, вы, похоже, занимаетесь одной историей. Поэтому разберитесь сами... ну я не знаю, — он замотал кистью, — монетку подкиньте там...

— Нет, ну, если история хорошая, я могу ей заняться, — играя с ручкой, вмешалась одна из корреспонденток. Все хмыкнули.

Маша подошла ко мне с вопросом «Что я нарыла?».

— Хм. Даа... толком ничего. А ты уже с адвокатом говорила, да?

— Да.

Я покрутилась в кресле. Я нашла эту историю первой, но у неё больше результатов. Как поступить, как поступить... Как бы поступил журналист? Он бы послал Машу к чёрту и продолжил бы заниматься своим делом.

— Хорошо. Забирай.

— Историю? — удивленно спросила Маша.

— Да, да, историю. У тебя больше информации, так что вперёд.

Наверно, Маша думала, что я стерва и, пока я кручусь в кресле, я придумываю, как бы изящнее изложить своё презрение к ней.

— Но без обид.

— Господи, какие обиды, — я махнула рукой. — Иди работай. Пока я не передумала.

С Машей у нас впоследствии сложились дружеские отношения. Она была миниатюрной брюнеткой с пухлыми губами и большой грудью. Мне нравилось с ней болтать, её заразительный смех и живые глаза иногда поднимали моё настроение.

Кстати, из нашей истории ничего не вышло. Выяснилось, что эти два мужика вовсе не были друзьями. А женщина, из-за которой всё произошло, уехала куда-то за границу. *Finita la comedia*.

Под конец рабочего дня я опять подошла к Павлову.

— А завтра мне нужно будет приходиться? Каждый день нужно приходиться?

— А это что вам, кружок по вышиванию? Если вы хотите тут работать, то да, вам нужно приходиться сюда каждый день. И ваша стажировка будет зависеть только от вас. Если вы снимете сюжет за четыре дня, мы встанем и всей редакцией вам поплодируем. Но, как показывает практика...

— А вы хотите, чтобы я пришла?

Павлов посмотрел на мои ноги, потом в глаза. Его взгляд говорил: «Вы задаете неуместные вопросы».

— Ладно. Тогда до завтра!

Он мне улыбнулся:

— До завтра.

Я ехала в трамвае и думала: «Стоит ли мне приходиться завтра?». Было очевидно, что эта работа не для меня. Я вспомнила Павлова. И вспомнила, что последний раз я принимала «Имипрамин» днём, то есть я. Я уже почти 7 часов без препаратов. И я не испытываю при этом никаких панических атак.

Другого бы этот факт порадовал. Порадовал и меня. Но только до того момента, как я поняла, что это ловушка моего подсознания. Плацебо. Я еще раз подумала о Павлове.

— А ты поедешь завтра? — спросила я у парня со жвачкой. Его звали Вова, и познакомились мы под конец рабочего дня, несмотря на то что курили вместе с утра.

— Не знаю.

— Приезжай, почему нет.

Я знала, что он не приедет. Это не просто работа. Это психологически сложная работа. И слож-

ность заключается во всём: от поиска истории до конечных съёмок.

— Наверно, приеду. Кстати, это твоя остановка.

Я вышла у метро «ВДНХ». Уставшая, голодная, озадаченная. Я перебежала дорогу, направилась в аптеку рядом с метро, чтобы купить себе гематогенку. На что-то большее у меня просто не было денег. Я слушала какую-то музыку, думала о чём-то, пыталась объективно взглянуть на ситуацию.

Приехав домой, я посмотрела выпуск «Обвинительного заключения» и опять пыталась «Яндекс» самыми извращёнными запросами, чтобы завтра прийти уже с готовой подборкой самых мерзких историй. Просматривая криминальную хронику, я удивлялась тому, на что способен человек. Как можно объяснить, к примеру, поступок отца, который посреди ночи взял свою трёхмесячную дочь и пятилетнего сына, отвел их в центр города и около памятника Дзержинскому размозжил голову дочке об асфальт, а после пытался задушить сына? Как живётся матери этих детей после этого? Но самое страшное, если ты проникнешься этой историей, если ты попытаешься представить, если ты по незнанию не воспринимаешь её абстрагировано, тогда вопрос: что произойдёт с тобой? И не сделаешь ли ты то же, что и тот отец?

На следующее утро на мне было короткое чёрное платье с круглым воротничком. Я стояла в курилке, когда по лестнице поднимался Павлов. Чёрное пальто, чёрные брюки, белая рубашка — всё выглаженное и до неприличности идеальное. Он подошел ко мне.

— Что у вас в носу? Как это называется?

Ну вот. Как в школе, когда меня вызывали к директору и отчитывали за каждую деталь моей одежды.

— Это называется пирсинг.

— Ммм. Зачем он вам? Это как бы красиво?

— Не знаю. Мне нравится.

— Вам придётся его вытаскивать.

— Он не вытаскивается. По крайней мере, я не смогу это сделать сама.

— Дырка останется?

— Да.

— Мм. А зачем вы его сделали? А уши не проколоты?

— Нет.

— Странно, нос проколот, а уши нет... в любом случае это не приветствуется. Это проявление...

ние... это же неформальная атрибутика, а вам придётся общаться с людьми. Так-то вы выглядите хорошо, а кольцо в носу может вызвать недоверие.

— Вам не нравится мой пирсинг?

Он засмеялся.

— Мне нравится. Даже очень. Выглядит... достаточно интересно в совокупности с вашей внешностью. Но всё же это проявление мазохизма.

Я подумала, что программа «Обвинительное заключение» — самое яркое проявление мазохизма. Но вместо этого я сказала, что хорошо, я его вытаску. Он смущённо оглядел меня быстрым взглядом.

— А что ещё не приветствуется у вас? — спросила я, понизив голос, подойдя к нему почти вплотную.

Он хотел мне ответить, но его отвлек звонящий телефон.

Что я делаю? Зачем я это делаю? Я изначально это понимала. Всю ситуацию с «Обвинительным заключением» я изначально воспринимала как игру и отчасти как возможность стать чем-то более значимым, а не просто истеричкой, единственное желание которой — уйти от реальности, от себя, от всех. Как можно дальше, как можно глубже.

На тот момент я жила с архитектором. Он был старше меня, но младше Павлова. Мы часто скандалили, но к началу декабря наши отношения стали практически идеальными. И флирт с Павловым, конечно, не мог их разрушить.

— You're screwed up and brilliant, you look like a million dollar man...¹

...И оно будет разбито, подумала я. Но это игра, это не по-настоящему. И я могу быть кем угодно. И физическое влечение — это просто физическое влечение, за ним ничего не стоит.

6

МОЕГО АРХИТЕКТОРА звали Женя. Ему было двадцать восемь — прекрасный возраст для мужчины. Но иногда мне казалось, что я старше. Мы снимали студию на Соколе. Наша квартира напоминала одну из тех богемных

¹ Песня Ланы Дель Рей «Million dollar man»: «Ты испорчен и неотразим, ты выглядишь как мужчина на миллион долларов...».

квартир, где в начале XX века собирались поэты. Ретро мешалось с элементами минимализма: стеллажи под барокко, туалетный столик, большой мягкий малиновый ковёр, тяжёлые персиковые шторы, большое круглое зеркало, портрет Есенина 70-х годов, кухонная стойка, заваленная чертежами и моими книгами, мольберт, на котором стояла моя единственная и недорисованная картина, небольшой бар и большая кровать, на которой, к слову говоря, я никогда не любила заниматься сексом. Я вообще не люблю заниматься сексом там, где сплю. Малиновый ковёр, подоконник мне нравились больше.

К тому времени, как пришел Женя, я забросила поиски историй и мирно пила вино, сидя на диване, слушая Дюка Эллингтона. Женя устало бросил сумку в угол, скинул ботинки. Я вышла к нему в одной футболке, съехавшей не плечо.

— Все вопросы и рассказы потом, — я протянула ему бокал с вином, — сейчас пей залпом и снимай брюки.

Позже, растягивая одну сигарету на двоих, я рассказала ему про «Останкино», «Обвинительное заключение», про стажёров и Павлова.

— Сколько ему лет?

— За тридцать, я думаю. Тридцать один, может, тридцать два.

— Женат?

— Понятия не имею. Я не обратила внимания: есть кольцо или нет. Думаешь, мне стоит завтра идти?

— Думаю, да.

Женя. Он был милым, трогательным, весёлым, терпящим мои истерики и капризы. Высокий брюнет с невероятной улыбкой и щетиной, которую я запрещала ему сбривать. Где мы познакомились? Ах да. Летом, полтора года назад. Был дождь, я шла куда-то, а он ехал на велосипеде. Он остановился, наступив в лужу, промочил кеды и предложил меня прокатить. Его фраза «Я в первый раз сел на велосипед» меня не слишком мотивировала, и я, отказавшись, пошла дальше. Он догнал меня и пригласил в кофейню выпить какао — как же это ужасно, до тошноты мило! С тех пор мы были вместе. Я была рада и удивлена тому, что два немного сумасшедших человека встретились случайно. Мы вместе ходили по барам, целовались на Тверском бульваре перед памятником Есенину. Целовались за памятником. Целовались лежа под памятником. Стоя на мосту, кидали картошку фри в проезжающие машины, ни разу не попав. Курили, говорили об искусстве,

занимались любовью на каждом углу Тверской, ходили на рок-концерты, где за кулисами он спускался ниже моего живота и я мысленно благодарила его логопеда. И все это было здорово. Пока бары не надоели, а поцелуи перестали быть с привкусом вишневого дыма. Я чувствовала влюблённость к Жене... когда-то. Но я выпила наши отношения, как выпиваю виски: до дна, сгрызая льдинки. В них не осталось нерва. Но он любил меня. Любил мои нестандартные вкусы музыки и кино, любил моё депрессивное настроение, любил меня в красном платье и домашней футболке. Он любил меня на каблуках в туалетной кабинке дорогого ресторана и любил меня тогда, когда делал чертежи, а я приходила и клала голову ему на колени. По моей прихоти он мог в час ночи отправиться на другой конец города потому, что я хочу именно те блинчики, там они самые вкусные. Он мог забрать меня из какого-нибудь кабака пьяную и на руках донести меня до кровати, при этом не высказывая никаких обвинений на утро. Он был заботливым. И его проблема была в том, что он слишком сильно меня любил. Иногда меня это раздражало. Женя был идеальным, он не заставляет меня нервничать. Он не заставляет меня грустить. Он не причиняет мне боль. Что мне ещё нужно? — спрашивала я себя, надевая кольцо с бриллиантом, подаренное им. Я смотрела на себя в зеркало: бледная, стройная, с темными глазами. «Сколько я стою? Я стою того, чтобы мужчины мучились, даря мне украшения. Я стою того, чтобы топтать их своим ЦУМовским каблуком». Но я тут же изменилась в лице. Теперь в зеркале я видела испуганную девочку с круглыми наивными глазами. Откуда во мне эта ненависть? Я взяла себя за запястье и сильно сжала. На нём остались белые отпечатки пальцев — словно Сашенька пыталась меня остановить. Но что именно остановить? Я выпила «Беллатаминал» и, положив руки на туалетный столик, продолжила смотреть в зеркало.

...Мы с мамой были дома. Пятничный вечер. Я читала «Робинзона Крузо», когда пришел отец. Он зашел в ванную, взял расчёску. Причесался, поправил галстук и швырнул расчёску об кафельный пол. Пластиковые обломки разлетелись по ванной. Он направился в гостиную, где мама перебирала документы. Он выбил их из её рук, листы А4 разлетелись по комнате, как птицы Хичкока. Мама испуганно и озадаченно посмотрела на него. От него пахло парфюмом Whiskey и коньяком...

Это сочетание запахов врезалось мне в память, как одно из самых ярких впечатлений из детства. Когда мне было восемь лет, мама на месяц уехала в Москву. Тогда ещё не было мобильных телефонов. Я не могла позвонить ей в любое время. Я помню, как сижу вечером одна на полу, держа телефонную трубку в руке. Я набирала записанный номер. Мне ответила какая-то женщина, я попросила её соединить меня с Москвой, я сказала, что хочу поговорить с мамой. Женщина в трубке смеясь ответила: «Может, лучше соединить тебя с Лондоном?». Я бросила телефон. Я смотрела на этот чёрный агрегат с зелёными кнопками, которые светятся в темноте, и чувствовала, как подкатывает к горлу ком, как в груди у меня что-то пустеет. Слово этот телефон проделал там небольшую дыру, и она пульсировала, съедая меня изнутри.

Я ложилась спать одна. Тогда я ела один раз в день у моей подруги. Отец готовил редко и мало заботился о том, где и что я ем. Как-то утром он посоветовал мне надеть свитер под ветровку потому, что на улице холодно. Я удивилась этому. И даже обрадовалась. Через много лет точно так же Павлов будет советовать мне надевать колготки вместо чулок, всё по той же причине.

Мамы не было целый месяц. И этот месяц я была предоставлена сама себе. Я просыпалась, пила чай, собиралась в школу, заходила в родительскую комнату и чувствовала отцовский парфюм Whiskey, перемешанный с крепким пергаром. Я смотрела на него несколько секунд: он спал, раскинувшись на кровати, храпя, как расстроенный тромбон. Я шла в школу, после шла к подруге. Ане. Её родители уже воспринимали меня как третью дочь — я часто у них оставалась. Мы играли в футбол с братом Ани, лазали по недостроенным домам, ходили в походы. Всё было так просто и понятно. Весёлое время... и одновременно с тем очень одинокое. Наступила Пасха, мама всё ещё была в Москве. И я помню, как мы идём с отцом: на мне жёлтая ветровка с Микки-Маусом, моя любимая жёлтая кепка была как всегда повернута козырьком назад. В руках у отца был отломанный кусок творожной пасхи. Я смотрела на кусок и радовалась тому, что на нём осталась глазурь — самое вкусное место. Хорошо, что я тогда не понимала, насколько мне было плохо и одиноко. Безразличное поведение отца я не воспринимала как что-то неправильное. Я не злилась на него и не обижалась. И тот факт, что на обед у меня был только чай, не мог заставить меня любить его меньше. Иногда мне казалось, что, пока я ноче-

вала у моей подруги, у нас дома была чужая женщина. Но это были только мои опасения, не основанные ни на чём, кроме слов отца: «Сегодня тебе лучше переночевать у Ани». По вечерам, оставаясь одна, я часто сидела на балконе и смотрела, как смеркается, смотрела на людей внизу. Они ходили парами, с колясками, некоторые выгуливали собак. Распускались почки на деревьях, и начинало пахнуть летом, но я ежилась от холода, слушая, как из комнаты доносились хрипения старой маминой кассеты «Битлз».

Я смотрела в зеркало. Сколько времени прошло с тех пор? Очень много. Но, когда я слушаю Ticket to Raid, меня пробивает озноб. Всё ещё. Я вспоминаю ту, восьмилетнюю девочку, которая была настолько потерянной и незащищённой. Слава богу, что она не понимала этого тогда. Было бы намного лучше, если бы она не понимала этого и теперь.

7

УТРО. КОФЕ. Я поднимаюсь в редакцию. Я довольна. История, которую я нашла, крайне заинтересовала Павлова. Уже что-то. Накануне вечером я рассказала ему о ребенке, который при родах получил травму головы. Отец покалеченного малыша обвинил во всем врача и целый год вынашивал план мести. А несколько месяцев назад он выследил акушера и убил. При помощи железной трубы и «друзей», которым изначально было заплачено за помощь.

— Какое может быть развитие в этой истории? — спросил у меня Павлов.

— Мне... сейчас нужно придумать?

— Да. Давайте прямо сейчас.

Я не умею импровизировать. Это сложно, когда на тебя смотрят в упор, словно ты балансируешь на канате без страховки. Я делала вид, что думаю, но в этот момент моё воображение рисовало парусник, спокойно дрейфующий в ярко-голубых волнах. Я не знала что сказать и начала вслух проговаривать все обстоятельства дела. Видя, что у меня ничего не получается, Павлов взялся придумывать за меня, растягивая слова, как бы давая мне возможность додуматься самой.

— Таак. Есть семья злодея и семья акушера. Этот злодей вместо того, чтобы заботиться о ребенке, целый год обдумывал, как замочить врача. И вот он его убивает, его сажают, семья остаётся без кормильца. А у него, помимо большого ребёнка, ещё несколько детей. Но есть ещё мать

убитого врача, и она! Она приносит деньги жене убийцы на лечение ребёнка. Деньги мы ей, конечно, дадим. Она же бабушка, бедненькая... деньги дадим. Она приносит их и говорит, что, несмотря на то, что ваш муж убил моего сына, ребёнок не должен страдать. Она проявляет сострадание и любовь... понимаете?

Я кивнула. Он продолжил:

— Вот. Злодей узнает об этом и плачет в камере: «Что же я наделал!». Понимаете, как меняются характеры героев? Вот вам и развитие истории.

Мне осталось только пооплодировать. Он срежиссировал судьбу реальных людей.

— Нужно только воплотить в жизнь историю, которую мы с вами придумали.

— Которую вы придумывали.

— Которую мы придумали. Нужно подтолкнуть главных героев. У вас есть их контакты?

— Да.

— Так идите сейчас и поговорите с ними.

Я встала с неохотой. По какой-то причине я была спокойна рядом с Павловым. Спокойна и уравновешенна. Рядом с ним мне не нужно было бороться с приступами паники и собственными мыслями, которые заводили механизм страха, комплексов и самоуничужения. Иногда мне просто хотелось уткнуться в его белую рубашку, чтобы почувствовать себя в безопасности.

И никакая наглость, никакие препараты не могли отбить у меня это желание. Нет, не желание, скорее... *потребность?*

Но пропорции реального и желаемого не смешивались, как Б-52. Я подходила к нему, наперёд зная, что кроме критики не получу ничего: я плохо мотивирую героев, я недостаточно категорична при разговоре со следователем, я неправильно стою и мимика у меня неправильная.

— Что у вас с губами? Зачем вы так делаете? Вы гримасу корчите? Что вы молчите?

— Я не специально...

Я выслушивала все его оправданные и неоправданные замечания, и, возвращаясь за свой рабочий стол, я щипала себя за руку, чтобы убедиться в том, что после его выволочек я могу что-то чувствовать. Почему?

Я смотрела на синяки. Боже мой. В Павлове я видела своего отца. Я хотела, чтобы он обращался со мной, как с дочкой. Я хотела, чтобы он обращался со мной, как с женщиной. Эдипов комплекс. *Я хотела от него, чтобы он меня трахал и любил при этом отцовской любовью.*

И я продолжала доверять ему. Как раньше доверяла отцу, как раньше любила отца. Несмотря на то, что он, кажется, в какой-то момент просто забыл, что у него есть дочь.

Мне был нужен человек, пусть даже в моем воображении, для которого я бы что-то значила, который хотел бы заботиться обо мне. Конечно, я не получала даже намёка на это. Павлов в принципе воспринимал людей как источник информации, не задумываясь над тем, что они чувствуют. Точнее, не допуская мысли, что они могут что-то чувствовать.

Поскольку всё это — игра, держаться профессионально не было смысла. Эго, Супер-Эго и Оно. Ребенок, Родитель и Взрослый. Когда в одном человеке доминирует Супер-Эго и Ребенок, получается то, что получается: *spontaneous confusion*.

Частично я перенимала модель поведения Павлова: он кричал на меня и матерился, я делала то же самое. Каждый раз я игнорировала всякие этические и профессиональные границы. Во время очередного выговора я могла просто встать и уйти, небрежно бросив: «Вы бываете просто невыносимым», на что он орал мне вслед, чтобы я оставила свои комментарии при себе. Он злился. Меня это веселило. Каждый раз я проверяла: насколько ещё хватит его терпения? Его терпения хватило до конца. И мне до сих пор не понятно: зачем он со мной нянчился.

И всё то, что происходило, действительно было для меня игрой. Я была чрезмерно наглой или инфантильно надувала губы. Мне нравилось возбуждать Павлова. И я видела, как он на меня смотрит: желание. Ничем не прикрытое желание.

Но вместе с тем мне хотелось проявлять заботу.

Это было ненормально. Но именно эта патология чувств меня и привлекала.

Четвёртый день моей стажировки. Я как паничка сидела напротив Павлова, слушая о том, как лучше выстраивать сюжет, как нужно мотивировать и общаться с правоохранительными органами. Павлов плавно изменил тему разговора, спросив, сколько мне лет. И тогда я поняла, что он принимает мои правила игры.

— А вам?

Он повернулся ко мне, сложив руки в замок. Ясно. Взгляд «неуместный вопрос».

— Ну вам есть двадцать?

— Дааа.

— Ну больше двадцати?

— Нуу... больше.

— Ну намного больше, да?

— Нет, — покачала я головой.

— Сколько?

— Двадцать один.

Он разочарованно посмотрел в сторону.

— Что, вы думаете, я слишком маленькая, чтобы работать тут у вас?

— Да нет, я так не думаю. Вы — вполне взрослый и — он посмотрел на мои ноги — осознанный человек... Покажите паспорт.

— Зачем? Вы не верите, что мне двадцать один?

— Покажите.

— Нет.

— Покажите.

Он изучил каждую страничку, пролистал даже пустые. Подробно рассмотрел выпавший кошечек билета на самолёт. Посмотрел на фотографию в паспорте, потом на меня.

— Вы находитесь в поиске.

— Нет, я уже со всем определилась.

Определилась? С чем? С чем ты можешь определиться, кроме новых туфель? Ты не знаешь ни себя, ни мира, в котором живёшь. *Или слишком хорошо знаешь.* Может, не стоило ещё в школе прятаться от него? *Подумай хорошенько, ты даже не понимаешь, зачем ты тут.* Я знаю, зачем я тут. *Зачем? Just have fun?* Нет. Нет, совсем не для этого. Я хочу узнать *тебя.* Ты не хочешь ничего узнавать, нет, ты хочешь развлечения, ты пытаешься спрятаться за очередную придуманную, сконструированную тобой фантазию. Это было нормальным, когда на первом курсе вы с твоим другом и бутылкой самого дешевого портвейна орали стихи Есенина. А сейчас? Может, ты хотя бы попытаешься посмотреть вокруг? Жизнь вообще страшная штука, да. Но прятаться от неё куда страшнее.

Я сидела молча, всматриваясь в пол. Он отдал мне паспорт.

8

ИТАК, МНЕ БЫЛО нужно поговорить с матерью убитого врача. Как это сделать? Как мне говорить с ней об её мертвом сыне? Какими словами мне предлагать сделать шоу из его смерти? С чего начать разговор? Я около часа смотрела на номер и делала наброски предполагаемой беседы:

«Так. Как и о чём мне нужно разговаривать с родственниками? С матерью и отцом погибше-

го? О чём? О чёмочёмочёмочём? Нужно звонить. Спрошу что-нибудь у Павлова — он будет злиться опять. Так-так-так. Здравствуйте, меня зовут так-то так-то. Нужно ли мне представляться? Так. Ксения Сергеевна, здравствуйте. Меня зовут Александра, я корреспондент компании МТВ... чёрт, нет.

Здравствуйте, Ксения Сергеевна, есть минутка? Не то...

Ксения Сергеевна, добрый вечер. Меня зовут Александра Максимова, программа „Обвинительное заключение“, компания МТВ. Мы бы хотели снять документальный фильм про вашего сына... не сюжет, а именно документальный фильм на пятьдесят минут...»

До этого я беседовала с женой убийцы. Она успокаивала ребенка и ответила мне очень уставшим голосом:

— Я отказываюсь давать комментарии. Нас уже и так облили дерьмом во всех газетах. Я ничего больше говорить не буду.

— Но мы можем помочь вашему ребёнку, — я пыталась максимально смягчить голос.

На что она резко и с вызовом бросила:

— Нам не нужна ваша помощь. Мы справляемся сами.

Я скривила губы. У нее три ребенка, одному из которых искусственно поддерживают жизнь в реанимации. Сама она не работала, а ее мужа посадили. И теперь она говорит мне, что им не нужна помощь. Я понимала, что её гордость была средством защиты. Но беспомощность, звучащая в её голосе, сочилась как кровь через бинт злобы. Эта женщина была из тех, кто не покажет боль, когда в неё кидают камни. Мне было жалко её так же, как и мать погибшего врача.

Я положила трубку и почувствовала, как что-то липкое разливается у меня в животе, потом переходит в лёгкие. Это была инфекция, поражающая моё тело, орган за органом. Это было отвращение к себе. И то, что я *сочувствую* им, никак не оправдывает мое намерение спекулировать их горем.

После того, как я положила трубку, первое, что я почувствовала, — злость. Злость на жену из-за ее отказа. И в этот момент, я поняла, что они для меня — ма-те-ри-ал.

(*You*) И я размениваю (*gonna lose*) свою душу (*your soul*). *Tonight*. На три белых буквы. *Tonight*. На зеленом фоне. Я сознательно иду на то, чтобы избавиться от любых чувств, сознательно иду на то, чтобы меня, как помидорку, закинули в миксер вместе с персонажами, а по-

том вылили бы получившуюся пасту на спагетти, которые поглощает ведущий программы. И вот капля меня стекает по его подбородку, он вытирает её салфеткой, рассчитывается с официантом и уходит. А салфетка продолжает лежать в грязной тарелке. И потом искать эту часть не будет смысла.

Ведущий программы. Этот человек смотрел на всех с высоты убеждения «со мной все хорошо, а с тобой нет». И всем приходилось с этим соглашаться.

К Лисицыну я почувствовала неприязнь, когда я увидела Павлова, встающего перед ним на задние лапки, послушно тямкая. На нас он орал, не стесняясь в выражениях, а перед Лисицыным откровенно стелился, как гавайская проститутка. Даже слишком откровенно. Я не понимала, почему Павлов, умный человек, прыгает как послушная обезьянка под гармошку Лисицына? Неужели потому, что он умный? Мне было жалко Рому. А жалость самое паршивое чувство. «Честолюбец, мечтающий о высшей власти, пресмыкается в грязи раболепства»¹ — печальная картина.

Первый раз я увидела Лисицына на второй день своей стажировки. Он зашел в редакцию, поблескивая лысиной, рухнул в кресло, как мешок с фаршем, и спросил: «Что у кого есть?». Привлекать его внимание мне не хотелось ни по какому поводу. Поэтому, услышав его вопрос, я попыталась спрятаться за экран монитора. Далее я наблюдала за тем, как Павлов прыгает через обруч, рассказывая, что у кого есть. Я крутила между пальцев сигарету. В редакции все с какой-то ненормальной преданностью смотрели то на Лисицына, то на Павлова. Я хотела выйти в курилку, но решила остаться. Это было похоже на сектантский кружок, не на планёрку.

Лисицын выслушивал фабулы найденных историй, уточнял детали и спрашивал: «А что снимать?». Иногда он предлагал развитие, одобрял или браковал сюжет.

Вначале мне было интересно. Но только первые полчаса, после — скука. Таблетница. «Импрамин». И меня потянуло в сон. Я посмотрела на Павлова. Он был слишком увлечён своим горящим обручем, чтобы меня замечать. Я закрыла глаза, руки начали неметь. Я сидела в этой нездоровой полудрёме, в этом нездоровом месте, и до меня доносились нездоровые разгово-

ры. Почему? Почему целая редакция образованных специалистов, изучивших все законы драматургии и журналистики, с жаром обсуждает, как малолетка соблазнила своего отчима? Неужели никто из присутствующих не способен на большее? Почему от нас требуют картину апофеоза деградации? И в таком случае чем мы лучше тех маргиналов, которых показываем? И где гарантия того, что мы не деградируем вместе с ними?

Я открыла глаза. Вокруг все расплывалось и смешивалось. Я не чувствовала себя. Я была заперта в собственном теле. Мои собственные губы были плотно сжаты, боясь озвучить возникшие вопросы.

Планёрка закончилась. К помятой сигарете поднесена зажигалка. Колесико чиркнуло. Из редакции вышел Павлов. Он посмотрел на меня, хотел что-то сказать, замялся, закинув руку за голову, передумал, направившись вниз по лестнице. Но он остановился, посмотрел вверх и, поймав мой взгляд, решил спросить то, что, видимо, хотел:

— Вы себя плохо чувствуете?

— Нет. С чего вы взяли?

— Вы засыпали на планёрке.

— А это была планёрка?

— А что, не похоже?

— Похоже... Нет, я не засыпала. Просто с закрытыми глазами я лучше воспринимаю информацию.

От моей маленькой и нелепой лжи мне стало смешно, но потом я вспомнила, что я стажёр. По идее я должна работать так, словно у меня заводной ключик между лопаток и шило чуть пониже. И в моём графике не должен значиться пункт «поспать на планёрке, пока толстый и лысый дядька расплывается в кресле, а мой дедди-босс бьёт в тарелки, как игрушечная мартышка».

— А что, с открытыми глазами не получается? — спросил Павлов.

Что ж, наезд обоснованный. Опять раунд за тобой, милый.

— Если вы себя плохо чувствуете, вы можете уйти пораньше.

— Нет-нет, я хорошо себя чувствую, — попыталась я изобразить максимальную оживлённость, заблокированную час назад «Импрамином».

— Отлично, — Павлов улыбнулся пугающе доброжелательной улыбкой.

Он ушёл. Я затушила сигарету и вернулась в редакцию.

¹ Цитата из романа «Шагреновая кожа» Оноре де Бальзака.

ПЕРЕДО МНОЙ ВСЁ ещё лежал телефон матери потерпевшего. Я вздохнула и набрала её номер. Она не удивилась моему звонку — голос у неё был спокойным.

— Мне нужно подумать, посоветоваться с родственниками.

— Да, я прекрасно понимаю, но я уже заявила этот сюжет, нам нужно вписать его в сетку, нужно делать это сейчас, в противном случае всё прогорит. Мы приедем, покажем фотографии вашего сына, расскажем, каким он был талантливым врачом, насколько его клиенты ему благодарны. Мы привлечём внимание к этому больному ребёнку...

— Понимаете, Сашенька, то, что ему благодарны, мы и так знаем. То, что он был хорошим врачом, и так все помнят, — голос её начал дрожать. — Этим фильмом не воскресить моего сына... Это будет слишком... больно, ворошить всё это...

У меня не осталось больше ни доводов, ни предложений. Что мне делать? Выжать из этой старой дуры последнюю каплю для фильма? Перепахать, разрыть ей ещё свежую рану: чем больше, тем лучше, чем глубже, тем лучше? *Что ты намерена делать? Что ты хочешь делать? Уговоришь её — тебе дадут работу.* Ты должна... Я ничего не должна. И тебе в том числе.

— Да, Ксения Сергеевна, я понимаю. Не плачьте. Извините, что побеспокоила... Извините... Надеюсь, у вас всё будет хорошо... До свидания.

Я положила трубку и развернула кресло в сторону Ромы. Я сказала ему, что герои в категоричном отказе.

— Плохо, — грустно ответил он. — Хорошая история.

— Да, Роман, хорошая история.

Я развернулась и вышла в холл. Мне не хотелось видеть ни себя, ни особенно Павлова. Мы (*они*) оба стали мне противны.

Я спустилась в уборную и заперлась в туалетной кабинке. Около пятнадцати минут я стояла, положив руки и голову на большой круглый держатель для туалетной бумаги.

Выйдя оттуда, я долго смотрела в зеркало, вглядываясь в отражение: неужели это *я*? Неужели эти ухоженные кудри *мои*? Неужели эти тёмные глаза *мои*? Неужели это *мои* руки? Неужели это *мои* губы? Неужели эта девушка в зеркале — *я*?

Нет. Не я. И всё это происходит с ней, а не со мной. Это *она* ищет истории про убийства и ревность, это *она* хочет убедить мать погибшего рас-

сказывать про смерть своего сына, это *она* хочет работать на МТВ, это *она* хочет трахнуть Павлова, а не я. Я всего лишь хотела от него маленькую каплю, крошечную каплю заботы, я всего лишь хотела прижаться к нему ненадолго, чтобы почувствовать... А она хочет трахнуть его. Использовать и выбросить. Это она, а не я, не я, неянея-неянеянея. Я. Я хочу убежать отсюда. Убежать и не оглядываться. Я сейчас, прямо сейчас стою здесь и понимаю, что это место меня прикончит. Оно убьёт меня и будет восхвалять её. Оно распорет мне грудную клетку, достанет сердце, раздавит его и разможжит по мраморному полу. А Павлов пройдёт по нему и не заметит. Потому, что будет спешить на очередную встречу.

Воздух. Его не хватало. Я задышалась. Что-то внутри, внутри стягивало воздух. Я посмотрела на грудь. Сквозь одежду, кожу, ребра и сосуды я увидела дыру. Она болела, пульсировала и стягивала в себя воздух из легких. Я вцепилась в кожу, хотела разорвать её, пробить ребра, чтобы заткнуть дыру. *Агония. Это не смерть.* Я знаю. Но... разве не я сейчас умираю? *Да.*

Она вытягивала, выжимала из меня всё. Я видела, как моя кровь чернеет, как чернеют лёгкие и сердце. Они дрожали от давления, и я видела, как они тлеют. Дыра пульсировала, вытягивая, выжимая из меня всё: радость, боль, волнение, трепет, ненависть, презрение, отвращение, любовь — любую эмоцию, пережитую мной, она выкачивала, вырывала артерии, скручивала жилы. Просто пустота. Фантомная боль. Внутри только дыра с подпалёнными, обожжёнными кромками. Тлела. Я схватилась за солнечное сплетение, словно я пыталась заткнуть её рукой. Меня оглушил засасывающий звук, как при взлете самолета. Я не могла двигаться, я не могла дышать. Я шевелила потрескавшимися губами, не понимая значения слов, которые пытаюсь произнести. Через грохот мотора я слышала едва различимую музыку синего бархата. В глазах потемнело, я зажмурилась от боли. Болело всё. Но я знала, что этой боли нет. Этого тела больше нет. Меня нет. Я не могу болеть. Я стиснула зубы, мне хотелось кричать, мне хотелось звать на помощь. Но кого?.. Есть ли тут хоть кто-нибудь? ЭЙ? Вы меня слышите? ЭЙ! Вы с-с-слышите меня? Я находилась в пустоте. И не понимала: открыты ли у меня глаза? Я моргала, но не видела ничего, кроме темноты.

— Что с тобой? — донесся голос, как на испорченной пленке. — Что с тобой, Саш?

Я крутила головой, пытаюсь понять, откуда голос. Чей это голос?

— Пап?..

Тишина. Она затыкала уши, заползала в мозг через ноздри и глаза. Скользящая и холодная, как змея.

— Я не знаю, пап. Папа! Я не знаю!.. Пожалуйста, прекрати всё это! Пожалуйста, скажи, что этого не было! Пожалуйста, скажи, что я твоя дочка... Пожалуйста, скажи, что ты не злишься на меня. Пожалуйста... прекрати всё это... пожалуйста, пап, помоги мне заткнуть её... пап... пап...

Пахло жжёной кожей. Пол был липким. Все таяло как парафин. И дым, запах дыма без огня. Я забила в угол, не испытывая ни боли, ни страха. Просто я хотела перестать существовать. Кто-то протянул мне руку. Я встала, ничего не видя. Кто ты?

КТО ТЫ?

Оно протянуло ко мне обе руки и обняло за плечи. Оно ласкалось ко мне как котенок, напевая синий бархат. И обнимало всё крепче и крепче. Я почувствовала слабый запах духов... Что-то заставило меня закричать. Узнавание. Я открыла рот, но почувствовала, как рука сжимает и вырывает мне голосовые связки. Кровь пахла дымом и хлестала липким фонтаном из моего горла. Оно обнимало меня. Я всё ещё пыталась высвободиться, когда почувствовала (*это ты*), как её ногти впились мне в грудную клетку. Я ладонями закрывала разодранную шею. Она впила мне в кожу, я слышала, как она рвётся и щелкает, словно горит. Я слышала, как хрустнули мои рёбра. Она открыла мою грудную клетку. Кроме огромной пульсирующей дыры, там не было ничего. Она нежно взяла меня за подбородок, поцеловала в приоткрытые пересохшие губы. И, придерживая рёбра, она вошла в меня. Напевая второй куплет синего бархата.

Я очнулась в туалетной кабинке сидя на полу в позе зародыша рядом с унитазом. Голова кружилась, во рту пересохло. Сколько я времени тут пробыла? Час? Два? Три? Может, уже ночь или уже утро? Я тихо открыла дверь кабинки и подождала. Послышались шаги и женские голоса. Я вышла, стараясь идти не шатаясь. Помыла руки, не глядя в зеркало. Вышла из уборной, оглядела лестницу и курилку. Поднялась, осторожно прошла в редакцию. Села за свой стол, покосившись на Павлова. Не замечая меня, он сидел в своих наушниках. Я посмотрела на часы. Когда я уходила, было примерно 14:30. Сейчас — 15:45. Хорошо.

Я оглядела все вещи на моём столе: помада, фотография Хичкока, провод для телефона, сам

телефон, записная книжка, ручка с погрызенным колпачком, перчатки. Всё было на месте. Я внимательно вглядывалась в каждый предмет, будто хотела найти какой-то подвох, будто я хотела убедиться, что это мои вещи. Я открыла записную книжку. Почерк мой, записи и рисунки тоже мои. Я сняла колпачок с помады, чтобы посмотреть, под каким углом она заострена. Все под тем же. Я немного успокоилась. Достала из сумки таблетницу в виде сердца и покрутила перед носом черно-зелёную капсулу. Выпила её.

Я закрыла глаза, откинувшись на спинку кресла. Бежать... Я хотела это сделать, но почувствовала, что кто-то держит меня за запястье. Крепко держит. Оставляя белые следы от пальцев. Я не могла сопротивляться. Я оставалась сидеть в кресле с закрытыми глазами. Ты победила. Да. Победила. У меня нет сил с тобой бороться. Хочешь — оставайся. Я останусь с тобой. Хочешь работать на МТВ, я буду работать с тобой. Хочешь трахать Павлова, я буду трахать его с тобой. Хочешь поиметь весь мир, я поимею его вместе с тобой. Я сидела с закрытыми глазами. Их открыла *она*.

10

Я БУДУ контролировать.

Я буду Родителем твоего Ребёнка.

Я буду спать.

Я буду наблюдать.

Я буду следить, чтобы ты всё сделала так, как нужно.

Так, как нужно нам.

Так, как нужно мне.

11

Я ПРИШЛА ДОМОЙ. Я не чувствовала своего тела. Разделась и упала на кровать.

Женя был дома.

— Привет.

— Привет, Женя.

— Что у вас там сегодня было интересного?

— Ой, Женя... я не хочу об этом говорить.

Мы замолчали.

— Павлов опять на меня орал весь день. Я отхватываю буквально за всё!

Он сидел ко мне спиной, что-то измеряя.

— Ну это не удивительно.

— В смысле? — я приподнялась, облокотившись на подушку.

— Маша говорит, что он делает из тебя идеальную женщину... возможно, для себя.

— О чём ты, Жень?..

— Я прочитал вашу переписку.

— Какую... переписку...

— Я зашел на твою страничку с твоего профиля и прочитал.

— Ты что, шпионишь за мной?!

Он резко развернулся на стуле:

— Нет, я не шпионю! Но, черт возьми, милая, объясни мне: что это значит?!

— Что значит?

— Да!

— Ничего не значит. Она шутила, это не серьёз. Вот и всё.

— Ох да! — он прикурил. — Это охрененно смешно! Я просто ухахатывался над тем, что моя девушка хочет переспать со своим боссом!

— Жень, я не хочу с ним спать, — я говорила тихим низким голосом, и сама его практически не слышала.

— Ты думаешь, я не замечаю?! — Он резко встал и заходил по комнате.

Я следила за ним, лежа на кровати, прижав к груди подушку.

— В последнее время ты отдаляешься от меня, я тебя раздражаю. И от тебя только и слышно: «Какой Павлов замечательный!».

— Он вовсе не замечательный. Он крутой профессионал, не более.

— Что ты врешь?.. Что мне теперь делать? — он говорил это стене, театрально жестикулируя. — Я думал, что она честная, я думал, что если она влюбится в кого-то, то она скажет мне об этом... а ты просто лживая шлюха!

— ЧТО? Что ты сказал, мальчик?! — Я поднялась с постели.

— Ты проститутка.

— С какого хрена я проститутка?!

— Ты хочешь с ним переспать!

— Я не хочу с ним переспать... чёрт... ну просто это прикол. Мы так прикалываемся. Надо же как-то развлекаться на работе... И я ни в кого не влюбилась...

— Отличное развлечение!

— ...К примеру, мы как-то обедали с Машкой и придумывали всякие дурацкие истории про Лисицына.

— Но почему-то про это вы не переписывались.

— ...

— Ты просто тварь. И шлюха, — его гримаса напоминала гримасу младенца, у которого оторвали соску.

— Не называй меня так. Слышишь, ты! Не смей называть меня так! — Я приблизилась к нему, размахивая указательным пальцем перед его носом. Он начинал выводить меня из себя.

— Ты мерзкая тварь. И мерзкая циничная шлюха, — бросил он, собираясь уйти.

Я схватила его за рукав и с размаху ударила по щеке.

— Не смей называть меня так. Не дорос ещё.

Он будто не заметил пощёчины.

— Ты думаешь, если ты потрахнешься с этим ублюдком, тебя возьмут на работу?! Да кому ты нужна! Ты делать-то ничего не умеешь, ты просто сучка, у которой началась течка! — его глаза блестели отчаянием. И гневом.

Я замахнулась, чтобы ещё раз ударить его. Он остановил мою руку в воздухе, больно сжал и отшвырнул. Я упала на кровать. Жень кинулся на меня и стал трясти за плечи:

— Почему ты так поступаешь? Я, как дурак, коплю деньги, чтобы свозить тебя в этот чёртов Ливерпуль, я бронирую там номер в дорогом отеле, я покупаю тебе эти долбанные платья... ты вообще знаешь, сколько каждое из них стоит?!

— Это старая коллекция... и я не просила их покупать...

— Я плачу за твои походы в салоны красоты, чтобы ты потом там ресничками хлопала! Я обещаю тебе! Ты, сука, больше никому не нужна. Твои родители хрен на тебя положили! Я всё для тебя делаю! Я!

— Они не положили на меня хрен! Они дают мне деньги!

— И на что ты их тратишь?! На туфли? На кабаки? Со сколькими ты мужиками там хотела переспать?

— Ни со сколькими! Жень, мне больно! Жень, отпусти меня!

Он впился мне в плечи, глядя на меня всё тем же беспомощным взглядом:

— Ты любишь меня?

Я молчала.

— ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ?!

Я молчала.

— Понятно, — он оттолкнул меня и ушёл со словами: — Я звоню твоей маме и говорю, чтобы она снимала тебе квартиру.

— Сам снимай себе квартиру! Меня эта устраивает! — крикнула я уже захлопнувшейся двери.

Я осталась одна. На часах около часа ночи. Я сидела на кровати, глядя на улыбающееся отражение. Ноутбук был открыт утром. Открыт на странице с перепиской. Я знала это.

ВСЁ БЫЛО в порядке. Словно. Все было в порядке, когда я утром появилась в редакции. Всё действительно было в порядке. На мне — новое платье, мои кудри по-прежнему хорошо уложены и браслет из золота с бриллиантами ненавязчиво скользил по моему запястью. Всё как всегда. Жени уже не было. Ни в квартире. Ни в моей голове. Ни в моих воспоминаниях.

МА-ТЕ-РИ-АЛ.

Мне хотелось работать, я испытывала нездоровое возбуждение, азарт.

Я взялась за новую историю, найденную мною ещё в первый день стажировки.

Аморальное дело. Жестокое и аморальное — идеальная история для «Обвинительного заключения». Семья. Нормальная среднестатистическая семья: муж, жена, две дочки. Завязкой трагедии послужило то, что жена встретила свою институтскую любовь. И тут понеслось: они трахаются по всем углам, даже не скрываясь. Муж узнает об этом достаточно скоро и ведёт себя апатично — переезжает жить на дачу, оставляя детей с матерью и любовником. Их нельзя назвать маргиналами, но отношения к алкоголю у них было крайне позитивное.

В вечер преступления любовник пришел к Кате (так звали жену), они вместе выпивали, после чего он советует ей бросить пить и устроиться на работу (что иронично). На этой почве у них завязывается скандал, Катя выливает своему возлюбленному на голову суп, а он бьет её обухом топора по голове. Катя бежит в комнату, где дети смотрят телевизор, падает на ковер. Любовник бежит за ней и добивает её уже лезвием топора. Бил он её прямо по голове, в общей сложности медэкспертиза насчитала около двадцати пяти ударов. Напомню, дети были в комнате. И они наблюдали за тем, как дядя Толя раскалывает голову их матери, забрызгивая экран с мультфильмами кровью и мозгами. Потом дядя Толя берёт свои вещи, уходит, закрывая квартиру на ключ. Дети сидят взаперти с трупом матери. Поскольку это был август и жара стояла невероятная, запах от трупа достаточно быстро распространился по всему подъезду. Соседи, судя по всему, страдающие переизбытком ума, заклеили вентиляционные и дверные щели квартиры, где находились девочки. С трупом матери. Они просидели там без еды и воды четыре дня. Старшей было восемь, младшей — пять. Добавляло интриги в историю то, что главный злодей после убийства пришёл к своей

матери и рассказал ей обо всём. И мать. МАТЬ. Зная, что там с трупом заперты двое малюток, ничего не сделала. С одной стороны — сын-убийца, с другой — двое беспомощных крошек. Выбор, конечно, очевиден.

Павлова эта история привела в экстаз. Она была настолько резонансная, что у него глаза блестели, а руки при разговоре летали в воздухе экспрессивней, чем обычно. Конечно, прозвонить! Конечно, быстрее!

Схема обычная: пресс-секретарь, официальный запрос, подтверждение официального запроса, телефон следователя, разговор со следователем, выяснение обстоятельств дела, высылка кое-каких документов и, наконец, контакты героев. Когда в самом начале я не могла связаться с пресс-секретарем, мне пришлось звонить в следственное управление, говорить, что я из администрации и мне срочно нужно связаться с Петром Петровичем, а рабочий он не берёт:

— Мне нужен его мобильный телефон. Он давал мне свой номер, но он, наверно, старый...

— А на что он заканчивается? — спросила меня секретарь.

Я назвала первые две цифры, которые пришли в голову.

— Ааа... неет. Это не тот. Вот его номер... — И она продиктовала мне мобильный.

Всё было здорово. Омрачало ситуацию лишь то, что моя история произошла в Иркутске, — разница с Москвой пять часов. То есть, пока я бегаю по телецентру «Останкино» как заведённая, с факсами, в Иркутске заканчивается рабочий день. Поэтому с момента официального запроса и получения контактов героев прошло около четырёх дней. Стоит ещё заметить то, что следователи не всегда сидят в управлении. И их не всегда можно было застать на месте. Личный же номер они давали только после подтверждения официального запроса. Это крайне сложно было объяснить Павлову. И вот, когда я в сотый раз дозванивалась до приёмной моего следователя, секретарша, женщина лет сорока восьми, узнавала меня по голосу и кричала в соседний кабинет:

— Пал Василич! Тут эмтэвэшники опять!

Пал Василич брал трубку, я смеясь ему отвечала:

— Здравсьте, это эмтэвэшники!

Но все следователи, пресс-секретари и любые госслужащие боялись сказать лишнее слово без официального запроса. Либо они прикрывались погонями, либо просто посылали. И, если получение информации не терпит до завтра,

приходится ухищряться и изворачиваться, как только можно. Канючить детским голоском: «Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, Павел Васильевич! И никому-никому не скажу, что это вы мне рассказали!». Либо включать более компромиссный тон: «Я так хочу к вам приехать. Я так ХОЧУ с вами поработать. Я так хочу вас СНЯТЬ». Хотя то, что меня боятся серьёзные дядьки со звездочками, крайне веселило. Я не знаю, как они меня представляли, но точно их воображение не рисовало двадцатидвухлетнюю девчонку, которая забирается на кресло, скрестив ноги, грызёт колпачок от ручки и надует пузыри бабл-гамом.

Настроение у меня было отличное — наконец у меня стало что-то получаться. Доза «Имипрамина» заметно снизилась до одной таблетки в день. Я не задумывалась ни о чём, кроме работы, и все эти дни оживлённо скакала от телефона к кабинке Павлова, рассказывая о том, что мне удалось выяснить. Конечно, он по-прежнему тыкал меня носом в то, что я сделала не так: мало информации, недостаточно подробностей.

— Почему вы не выяснили у мужа, где он познакомился с потерпевшей? Это же важно. Есть разница: познакомились ли они в школе или когда пили вместе в клубе. Чё не выяснили-то?

Я скривила губы.

— Я не знаю, почему я не выяснила.

— Надо знать, товарищ Александра! — Он потрепал спинку моего кресла.

— Хорошо, товарищ Роман! — Я потрепала спинку его кресла.

Он недоуменно посмотрел на меня.

— Александра. Вы странно себя ведёте. Почему вы не соблюдаете субординацию? Почему вы разговариваете со мной, будто мы с вами... любовники?

Я засмеялась.

— Я так с любовниками не разговариваю, — и добавила: — С любовниками вообще обычно не разговаривают.

Его губы были готовы растянуться в улыбке, но он сделал усилия и сохранил невозмутимый вид.

— Дайте мне номер вашего персонажа, я сам с ним поговорю.

Я встала.

— Но это же мой персонаж!

Его взгляд перемещался от моего лица к моим ногам, потом к груди, потом опять к ногам.

— Давайте, давайте.

— Хорошо.

Я остановилась, хотела что-то добавить, но передумала.

Он набрал продиктованные мною цифры и сказал, чтобы сидела и слушала. Это называлось «мы вместе с вами позвоним».

Пошли гудки.

— Как его зовут?

— Андрей.

— Здравствуйте. Андрей? Это Роман Павлов вас беспокоит, программа «Обвинительное заключение». Вы общались с моей коллегой Александрой. Андрей, могу я узнать некоторые подробности, чтобы нам было понятно, как лучше выстроить сюжет?

Павлов узнал у него всё: начиная от места рождения, заканчивая вопросом «удовлетворял ли он её в постели?». Мне нравилось смотреть, как работает Павлов. Он входил в голову персонажа, как нож в масло, и маневрировал там с ловкостью фокусника. Каждая деталь, каждое событие. Записи мелким почерком на маленьком листочке, которые мне почему-то нельзя было показывать. За десять минут он узнал о жизни этой семьи совершенно всё.

«Что ж. Вот он — энтэвэшник», — подумала я. Не знаю, было ли это комплиментом. Я не понимала, как он работает на такой работе. Она выматывает всё, что можно вымотать, и опустошает всё, что можно опустошить. Где он каждое утро берёт силы для того, чтобы обрушить на редакцию шквал своей, кажется, неиссякаемой энергии? Хотя, откуда я знала, может, у него есть женщина, способная её восполнить. А может, он за границами телецентра «Останкино» просто несчастный человек, что грустно. В тридцать два года. Но я точно знаю, пересекая порог телецентра «Останкино», человек не может уже принадлежать себе. Приходится рассовывать своё одиночество и депрессию, если таковые имеются, по карманам, куда подальше, и надевать маску того, кем тебя хотят видеть. Это делал Павлов. Я понимала прекрасно, что мне нужно делать то же самое. Иногда у меня получалось. Хотя я уже точно не знала, где заканчивается граница маски. И есть ли она на самом деле.

Павлов положил трубку.

— Видите, как нужно работать?

Я по-детски закивала головой.

— Вас должно интересовать всё в жизни героя. Что он есть, чем он живёт, чем дышит. Нужно знать, что ему нужно.

— И что ему нужно?

— Александра. Вы что, не слушали?

— Слушала.

— Вы так ничему не научитесь.

Я сидела нахмурившись.

— Александрaaaa! — Он опять потрепал спинку моего кресла. — Вы тут?

— Да.

— Вы как-то поживее работайте, отвечайте, прозванивайте. Как-то поживее надо всё это делать. Вы же заинтересованы в том, чтобы получить эту работу? Вам деньги нужны? Вы вообще, где вы живете?

Я молча смотрела на него.

— Вы москвичка?

— Нет. Вы же видели мой паспорт.

— Вы замужем?

— Нет! Вы же видели мой паспорт!

— Может, в гражданском браке?

— Нет.

Наверно, Павлов думал, что у меня есть любовник. А у любовника есть деньги.

— Вам, похоже, неинтересна ваша история. Вы мне её так преподносите... — он начал передразнивать меня. В его интерпретации я говорила крайне неразборчиво. — Неинтересно, — заключил он.

— Вы что меня передразниваете?!

Он не ответил, но продолжил меня злить. Двойная транзакция. Но я не могла понять: зачем он это делает.

Вначале моя история казалась Павлову бомбой, а теперь он говорил, что она скучная. Но. Двойная транзакция. Разговор был о работе. А само общение было иного характера.

— Не передразнивайте меня! Я не так говорю. Вы что специально меня злите? — Я вцепилась в край его стола.

Он засмеялся.

— У вас есть что ещё сказать? Нет? Тогда я пошла.

— Вы не можете так со мной разговаривать. Мы с вами не друзья и не любовники.

Я повернулась к нему, положила руку на стол, наклонилась и, понизив голос, сказала:

— Вы мне говорите про субординацию, а сами раздеваете меня взглядом самым наглым образом. И не говорите мне о том, что вы не пытались заглянуть ко мне под юбку, чтобы выяснить, какое бельё у меня сегодня.

Он смотрел на меня почти с вызовом. Его кадык заходил как пробка в шторме.

— Белое, я полагаю.

Подтверждать или опровергать я ничего не собиралась. Хотя он был прав. Белое.

— ОН ЗАПАЛ НА ТЕБЯ, — сказала Машка, когда мы стояли в курилке.

— С чего ты взяла? — спросила я без энтузиазма.

— Пока я сидела там, ты у него с языка не сходила, — Машка засмеялась.

— Да ну.

— Ну да. Ты не слышала?

— Нет.

— У меня не получается придумать в моей истории продолжение. И он как бы абстрагировано начал предлагать разные сюжеты. Он мне говорит: «Вот вы представьте, вы работаете с Александрой. Вы обе влюблены в вашего коллегу, и вы ревнуете его...». Я думаю, не себя ли он имеет в виду? — она опять засмеялась. — И типа он её хочет. Хочет прикоснуться к её обнажённому телу...

— Какие фантазии.

— ...Да. Она же ангел, спустившийся с небес, с нежной кожей...

— Ангел, значит... с нежной кожей. Может, он про другую Александру говорил?

— Неет. Он всё время на тебя смотрел. И так ты фигурировала во всех историях.

— Ну и что? Какое там может быть развитие?

Мы затушили окурки и пошли в редакцию. В курилке играл кавер на песню Rolling Stones «Under my thumb». Под моим каблуком крошка, которая однажды довела меня до депрессии. Под моим каблуком крошка, которая однажды оттолкнула меня... У меня под каблуком, как верная собачка... Она самая сладкая киска в мире.

Эту песню я часто слушала в курилке по утрам. Самая лучшая часть дня. Я позволяла ей взять меня. Унести далеко. Глубже вовнутрь. Полосатое платье. Юбка вздрагивала волнами. И небо. Слишком голубое. Слишком спокойное. Плывущий по воздуху дым, как морская рябь. Вокруг ходят, разговаривают, смеются, кричат. Коридоры, холлы, перегружены лифты. Все что-то обсуждают, все что-то ищут. А в курилке небо переходило в море. Кто-то наслаждается одиночеством. Слишком молода. Почти нечаянно угодила в волны (волны) передач. И ничего не беспокоит. Ничего не слышно. Мыслей. Ничего не беспокоит. И все хорошо, пока играет песня.

Но песня заканчивалась. И Сашенька оставалась там, где заканчивался трек.

«Ангел с нежной кожей, значит. Я запомню это, пожалуй».

УЗНАТЬ ТЕЛЕФОН матери обвиняемого было сложнее, чем достать всю остальную информацию. У следователя его не оказалось.

— У тебя есть адрес, где она живёт?

— Нет.

— Как нет? Я же тебе его говорил.

— Нет, не говорили.

— Пушкина, дом пять. Я даже на память помню! Позвоните Алексею Матвееву, он пробьёт номер по адресу.

— А кто он?

— Наш сотрудник.

— Я понимаю, что сотрудник...

— Идите звоните уже!

Я позвонила загадочному Алексею. Попросила пробить мне номер. Прокуренный голос ответил мне, что он может пробить только голову и почки.

— Это впечатляет, — сказала я, — но мне нужен только номер.

В базе оказался только номер её соседей. Нужно через них узнавать, как связаться с матерью обвиняемого. И представляться можно было кем угодно: «Здравствуйте, я из ЖЭКа. Здравствуйте, я из администрации. Здравствуйте, я старая знакомая. Здравствуйте, я её потерянная дочь». Простор для фантазии и вариаций. Главное — результат.

Но по записанному номеру никто не отвечал. Я звонила снова и снова. Они не отвечали. У меня не было контакта матери — это мой профессиональный недочёт. Так скажет Павлов, я уже это знала. Я положила трубку. Что делать? Вот что тут можно сделать? У следаков номера нет, в базе нет, соседи не отвечают.

Я достала помаду, подкрасить губы. Плохие новости лучше преподносить красивыми губами. Когда я поднесла зеркало к лицу, зазвонил телефон. Это был мой следователь. Он нашел номер матери. И я была готова его расцеловать.

К тому времени, как я ей позвонила, был уже почти конец рабочего дня. Корреспонденты медленно разбредались, надевая пальто, что-то обсуждая.

Разговор с матерью обвиняемого прошёл достаточно гладко. Я спросила у неё подробности по павловской схеме, и самое главное — она была не против сниматься. Я положила трубку и тут же подошла к Павлову.

— Всё здорово. Она готова.

— На что готова?

— На всё готова!

— Нда. Вы развитие придумали?

— Пока нет.

— Придумайте сейчас, в понедельник мы эту историю заявим.

— Давайте я завтра придумаю. Ушли все уже...

Я посмотрела на часы. Торопиться было некуда. Никаких планов. Я взяла его за галстук. Все мы просто животные.

— Я же ангел с нежной кожей, — в тот момент я казалась себе особенно жалкой.

14,5

ТЫ ЛЮБИШЬ меня?

Нет. Тебя никто не любит. Тебя невозможно любить.

Я открыла квартиру. Не включая свет, бросила сумку, сняла пальто. Не включая свет, разделась. Стоя перед зеркалом в темноте, я всё ещё вспоминала Павлова. За мной стоял силуэт. Я вздрогнула.

— Господи, Женя, твою ж мать! Испугал меня, скотина.

Я включила свет.

— Чёрт! Отвернись, сейчас я что-нибудь надену.

Он стоял, апатично глядя в пол. От него пахло алкоголем.

Он стоял посередине комнаты, такой большой и неуклюжий, с детским лицом и детской разочарованностью.

— Зачем ты пришёл?

Женя скривил губы, не меняя стеклянное выражение глаз.

— Жень, что тебе нужно?

Не глядя на меня, он достал пачку денег.

— Что это? Сколько здесь?.. Откуда они у тебя вообще?

Он швырнул в меня купюры.

— Здесь триста. Тебе хватит?

— Жень, ты о чём?

— А нужно больше, чтобы тебя отыметь?! — заорал он. — Ты же поэтому хочешь с ним переспать?!

Я засмеялась.

— Ты думаешь, он магнат нефтяной, что ли? Что за бред, Жень. Где ты их взял? — я пыталась говорить мягко. Как бы говорила его мать.

Мягко и рассудительно. Не поможет. Ты злишься? Нет. Ты злишься.

— Они всё равно твои. Это на поездку в эту... блин... в Грейт Британ твой любимый! Чтобы

ты смогла подрочить там на своих любимых покойничков!

— Ну отлично. Давай ещё и битлов сюда прикрути. Жень, ты чё вообще творишь?

— Да потому, что ты даже этого долбаного Джона Леннона всегда любила больше меня!

— Ну да. Я люблю Джона Леннона, — я села на кровать, сложив руки в замок.

— А его ты любишь? С ним ты хочешь трахаться?

— Жень, хватит.

— Он один раз угостил тебя тортиком за обедом, и всё! Потекла девочка!

— Женя, хватит, — я начинала злиться.

Он безнадежно посмотрел на меня.

— Ты шлюха. Просто шлюха.

Я набрала воздуха в лёгкие. Так, всё. Достаточно.

— ДА! Я ХОЧУ С НИМ ПЕРЕСПАТЬ! ЯЯЯЯЯ!

Молодец девочка.

Женя замер. Через секунду он набросился на меня. Он повалил меня на кровать, стараясь поцеловать. Я кричала и отворачивалась, пытаюсь сбросить его с себя, но он крепко держал меня за запястья. Он словно в агонии искал своими губами мои губы. Мне было противно. Отвращение. Презрение. Это самое ужасное чувство, когда ты испытываешь к человеку жалость и отвращение одновременно. *Но ты уже испытывала именно это сегодня, не так ли?* Наконец он отпустил меня.

Я вскочила. Мои волосы беспорядочно падали на лицо. Шёлковый халат съехал на одну сторону, эта сцена мне напомнила сцену из «Синего бархата» Линча. Только халат у меня был чёрным. И я была вне себя. Всё. Хватит надо мной издеваться. Я ничего не сделала такого, чтобы меня называли шлюхой без принципов, которой можно назначить цену.

— Пошёл вон, — я сжала зубы.

— Я тебя просто не отпущу. Я не отдам тебя этому ублюдку.

— Прекрати его обзывать, не дорос ещё!

— А он дорос? ОН дорос?!

— А он дорос.

— Он забрал у меня единственное, что у меня было. Ты же была всем для меня! Я просыпался ради тебя. Я жил ради тебя. Ты была всем...

— Он ничего у тебя не забирал. Он вообще тут ни при чём. Он вообще никто! И я не вещь, чтобы меня забирать. И тебе я не принадлежала. Никогда. Я, в принципе, не могу никому принадлежать.

— Саш, пожалуйста. Если ты не останешься со мной, я убью тебя. А потом себя.

— Ну «Бесприданница» просто! Новый Островский! Иди на хрен, Жень. Ни один мужик не может заставить меня бояться, особенно ты.

— Сука. Чтоб ты сдохла.

— Прекрати.

— Тварь!

— ПРЕКРАТИ!

И тут я поняла, что нужен какой-то катализатор. Конечно, я не думала и не планировала. Я стояла рядом с застеклённой дверью. Потом я буду убеждать себя, что я случайно, что я хотела ударить по дереву, что я не хотела бить рукой по стеклу. Но на самом деле мне хотелось разбить стекло. Хотелось проверить, как это. И я не думала о последствиях.

Я ударила внутренней стороной запястья. На несколько секунд время остановилось. *No surprises*. Я смотрела, как вокруг меня в воздухе застыли маленькие льдинки. *A heart that's full up like a landfill*. Они сверкали под красноватым светом лампы. *Bruises that won't heal*. И словно танцевали, словно они замерли, исполняя вальс. *They don't, they don't speak for us*. Потом с грохотом сотни мелких и крупных осколков обрушились на пол, *silent*, будто их сбросили с потолка. *Silent*. Как взрыв. Бомба. Ещё через секунду я смотрела, как из моей руки хлещет кровь. *No alarms and no surprises please*¹. Я смотрела на место, где не было кожи. Виднелись синеватые жилки, которые, как реки с изменённым течением, выплёскивали и выплёскивали. Остаток кожи сморщился и напоминал кожу на отварной курице. Я смотрела на этот маленький отдельный мир на моей (*моей?*) руке, пока не поняла, что падаю в обморок.

Я пришла в себя. И не узнала нашу квартиру. Вокруг меня кипятились санитары, моя рука была забинтована. Сквозь бинт проступала кровь. Сутулясь в углу, стоял Женя. Он виновато и растерянно смотрел исподлобья, кусая кулак.

— Что произошло? — спросила у него санитарка.

— Девушка порезала руку. Случайно.

— Я вижу, что девушка порезала руку! А вы знаете, что девушка задела вену? — санитарка посмотрела на него круглыми глазами, поправляя белую шапочку. — Она умереть могла! Что случилось-то?

¹ Песня Radiohead «No surprises».

Но тут она увидела, что я пришла в себя. Я лежала на кровати. Если они найдут «Импрамин», меня увезут в психбольницу с попыткой суицида.

— Ну? — она обратилась ко мне.

Я облизнула пересохшие губы. Откашлялась.

— Шрам останется?

— Что?

— Шрам. Останется?

Санитарка усмехнулась. Разведя руками, посмотрела на Женю.

— Она чуть не умерла и спрашивает: останется ли шрам! — она перевела взгляд на меня: — Сейчас мы повезём вас к дежурному хирургу. Он зашьёт.

— Хорошо. Дайте мне только одеться.

— Поехали давай! Вставай!

— Трусы дайте надеть!

Я оделась. Они помогли мне идти. Я все ещё чувствовала себя в предобморочном состоянии и плыла по полу, как по волнам.

— Жень, возьми мою сумку, — кинула я, не оборачиваясь к Жене, который сгорбившись шел за нами.

15

МЕНЯ ПОЛОЖИЛИ на операционный стол. Женю из операционной выгнали. Пришёл хирург. С залысиной, чёрной бородой и усами, в круглых очках и белом халате. Голос у него был хриплым и высоким.

— Тааак. Что у нас тут? Порез стеклом? Хорошо-хорошо. Будем зашивать! Как вас зовут?

— Александра, — я смотрела на стену. Он стоял ко мне спиной, надевая перчатки и перебирая инструменты. Вокруг меня порхала медсестричка.

— Вы не бойтесь, не бойтесь.

— Я не боюсь, — сказала я и поняла, что на меня обрушивается волна паники и страха. Шок прошёл, и мои глаза метались по кабинету. По белой стерильной стене, по белой раковине, по белому халату медсестрички.

— У вас зрачки расширяются и сужаются с такой скоростью!

Я не слушала её. Она мне ещё что-то говорила. Наверно, что-то ободряющее.

— Таак, девушка... как вас, кстати, зовут?

— АЛЕКСАНДРА!

— Что вы так кричите? — приговаривал он как бы заботливым тоном, но на самом деле за

ним сквозило безразличие. Надо же. Я для него тоже материал для работы. Прямо как для Павлова. И как для «Обвинительного заключения».

— Бом-бом-бом, какие нитки. Бом-бом-бом, сейчас зашьём всё, — напевал мой хирург.

Он двигался мягко, чётко, но вместе с тем рассеянно. Он просил медсестру что-то проверить, что-то принести. Потом говорил опять то же самое, но другими словами.

— Вы давно сидите на кокаине? — спросила я, не глядя на него.

Он молча звенел скальпелями.

— Что вы говорите?

— Кокс. Кокаин. Давно?

Я посмотрела на хирурга. Он напевал «Learning to Fly»¹.

Я пробовала кокс. Хотя «пробовала» не совсем подходящее слово — слишком часто я его «пробовала». Поэтому людей, сидящих на чём-то, я могла вычислить безошибочно.

Среди наших с Женей друзей почти все на чём-то сидели. В основном это был безобидный стафф: гаш, экстази, ЛСД. Некоторые, да, сидели на коксе. Парочка моих знакомых слезла с героина.

Вся эта «богемная» тусовка, все эти писатели, поэты, художники, музыканты... все эти люди. Все эти «творцы»... их или наша Муза уже давно превратилась в дешёвую путану с размазанной тушью и красной помадой. Мы уже давно повесили её на крюк, и, раздвигая ей ноги, мы все смотрим: что она родит.

Со времён Бальзака мало что изменилось: прозаики без стиля стояли рядом с прозаиками без идей. Художники без вкуса старались воплотить в своих картинах поэзию по Лессингу, а поэты расплывались в пошлой пастельной вате. И «идеи современности», которыми, по их мнению, дышат их произведения, не взрывали мир. Они были чисто написаны, но кроме букв в книге не было ничего. Айсберг растаял. Они читались и писались точно для таких же людей без чёткого осознания происходящего. И всё это «псевдо» пряталось за последнюю ширму, которая добавляла им хоть какого-нибудь шарма: секс, наркотики и забытые пластинки Led Zepelin. И они, как и я, делали всё для того, чтобы как можно надёжней спрятаться за этой прокуренной шторкой.

Видите, ничего не меняется. Мы все всё те же конфетки, всё с той же начинкой. И если предыдущие поколения считали себя потерян-

¹ Песня Pink Floyd.

ными, то наше — нет. Мы просто безнадежны. Мы — отходы. Мы живём под эгидой: «Переработка и цинизм». И цинизм в нас вселяется именно потому, что мы чувствуем себя отбросами. И нам не остаётся ничего другого, как закрыть глаза и открыть рот, выкрикивая требования, которые нам, по сути, не нужны. И мы открываем свой рот только для того, чтобы показаться более значимыми. И менее безнадежными. И я не могла винить и презирать Павлова за то, что он, как сутенёр, продаёт чужие жизни, меняя их в угоду зрителям. Любой уход от реальности хорош.

— Я не...

— У вас под носом осталось, — перебила я хирурга.

Он еле заметно вздрогнул, его рука дёрнулась в направлении носа.

Что и требовалось доказать. Меня будет зашивать хирург под кокаином. Что ж. Это отличный вечер пятницы.

Он приготовил инструменты, сел и начал осматривать рану, что-то бурча и напевая.

Меня трясло. Руки холодели, голова кружилась, к горлу подступала рвота. Мне был нужен «Импипрамин». Нет.

— Плеер! Сумка! Дайте мне сумку!

— Зачем? — медсестричка захлопала ресницами.

— Сумку дайте, там плеер! Я хочу плеер достать.

Она подала мне сумку. Одной рукой я достала плеер и трясущимися пальцами сунула один наушник в ухо. Хирург вкатывал мне местную анестезию.

Пробежавшись по плей-листу, я включила почему-то «Sixteen Saltines». Голос Джека Уайта волной адреналина ворвался ко мне в голову и подействовал лучше, чем любое успокоительное. Я немного расслабилась. Мне даже стало смешно. Я — платье, швы которого латают прямо на манекене. Я — платье.

Я сидела на кушетке.

— Вам лучше остаться здесь, — сказал мой мастер, — скальпель-бом-бом-бом.

— Надолго?

— До утра. Утром сделаем вам перевязку, посмотрим, что там и как. Вена всё-таки была задета...

— Хорошо, — оборвала я его. Мне не хотелось ничего слушать про мою затронутую вену. — Но это не было суицидом.

— Вам все равно лучше остаться.

Меня положили в палату. Дали больничную пижаму. Я надела её и уснула. Перед этим сказав Жене, что всё нормально, жить буду и что он может ехать домой. Завтра я приеду. Встретить? Хорошо, можешь встретить в субботу утром.

16

В СУББОТУ УТРОМ Я СИДЕЛА в кафетерии, ждала перевязку.

Остатки вчерашней укладки выглядели печально, и даже лак на ногтях за ночь облупился. Бледная, с синяками под глазами. В зеркало было тошно смотреться, и я избегала любой отражающей поверхности. Хирург, который должен делать мне перевязку, был на операции, и мне пришлось ждать его до вечера. Мне сделали несколько прививок. Я вернулась в палату, поспала, проснулась, вернулась в кафетерий, выпила кофе. Телевизор вещал МТВ, как ни странно. Не самый лучший канал для больницы. Или это для сравнения: смотрите, кому-то хуже, чем вам? Прошла реклама, диктор устрашающим голосом сделал анонс сериалов и программ. Я безразлично следила за меняющимися картинками. На экране вдруг появился Лисицын. Из-за разрешения телевизора он был приплюснутым, отчего выглядел толще, чем на самом деле.

— О, босс, — сказала я не так уж и громко, но все, кто был в кафетерии, разом повернули голову в сторону экрана. Потом на меня. Я почувствовала себя каким-то редким зверем в цирке. Не могу сказать, что это мне понравилось. «Оо-оо. Живой эмтэвэшник! Потрогать можно». Я перевела взгляд на кофейный автомат и старалась больше не произносить ни слова. Я вдруг почувствовала себя в комнате с кривыми зеркалами. Только я была отражением, а не самим человеком.

Перевязка была сделана. «Рукой не двигать», — было сказано. Билет на метро был куплен. Я поехала домой. Сахар в крови резко падал, и я несколько раз чуть не упала в обморок. Меня встретил Женя. Я сказала ему, что еду делать маникюр. Он проводил меня до салона и ждал. Девушка, которая занималась моими ногтями, умирала от любопытства, глядя на мою руку. И удивлялась тому, что я ей рассказывала, периодически посматривая на своих коллег в поисках удивления на их лицах. Находила. Затем возвращалась к моим ногтям.

После случая с моим запястьем я увижу Женю только тогда, когда в часы приёма мне откроют железную дверь в 3-м корпусе больницы Ганнушкина.

Через неделю я узнаю, что он пытался покончить с собой.

Через неделю и один час я узнаю, что у него была депрессия в латентной форме.

И я стала для его депрессии катализатором.

Я шла по разбитым тротуарам больницы и думала: не в таких мы разных местах находимся. И там и там ненормальные люди. Только в больнице Ганнушкина никто не скрывал свое заболевание. А в остальном — и там и там все сидят на транквилизаторах и седативных препаратах. Люди из телецентра «Останкино» вполне могут попасть в больницу Ганнушкина. А из больницы Ганнушкина — в телецентр «Останкино». И вряд ли они заметят большую разницу.

17

8:55. ПОНЕДЕЛЬНИК. НА МНЕ новое платье, идеальный маникюр и шелковый платок, скрывающий забинтованную руку. Помада rouge, каблучки-шпильки и ни тени расстройства. Только тошнота от прописанных таблеток и отменённый визит к психиатру.

Он пришёл. Как всегда быстрым шагом, стаканчик кофе в руке, как всегда безукоризненно отглаженный, как всегда «здравствуйте всем». Я как всегда промолчала. Он остановился около моего стола:

— Здравствуйте, Александр.

— Здравствуйте, Роман.

Через полчаса я, Павлов и шеф-редактор Елизарев сидели в кафе рядом с редакцией, на том же самом месте, где у нас было собеседование две недели назад.

— Сядьте лучше туда, — указал мне Павлов на кресло.

Я сидела рядом с ним.

— Почему? Мне удобно здесь.

— Сядьте туда. Я хочу вас видеть. Отсюда я вижу только вашу грудь.

Я пересела. Его уточнение я пропустила мимо ушей.

Говорил в основном Павлов. Он оживлённо описывал мою историю, иногда уточняя у меня детали. Елизарев кивал, посматривая на меня. Я сидела прямо, стараясь сохранить невозмущённый вид.

Я снова вернулась к обычной дозировке «Имипрамина». И не могу сказать точно: волновалась ли я. Я вспоминала то, как, лежа на операционном столе, мне хотелось держать кого-нибудь за руку. Я посмотрела на Павлова. Его?

Развитие истории было придумано: мать злодея должна была прийти к мужу погибшей и вымалить прощение за то, что она бросила его дочек умирать. Не получив прощения, она должна была уйти в монастырь и всю оставшуюся жизнь замаливать грехи.

— Её можно на это подтолкнуть? — спросил Елизарев.

— Думаю, да. Она сейчас живет на даче, в лесу практически.

— По-любому прячется, — вставил Павлов.

— Она у родственников там...

— А что за родственники? Бухают они там, наверно.

— Да нет, нет. Не думаю...

— А ты выяснила, почему она туда уехала? — не унимался Елизарев.

— Нет...

— Так выясни. А то мы тут придумываем, а она, может, и не раскаивается совсем.

— Хорошо.

— И ты с ней не про Маркеса говори. А про борщ там. И всё в этом духе. Поняла?

— Да.

— Хорошо. Звони выясняй. А потом уже будем думать, как подтолкнуть её.

Мы встали. Павлов с Елизаревым пошли к лифтам, а я направилась в редакцию. Одна маленькая деталь, и мне оформляют командировку. Я лечу в Иркутск, снимаю фильм и получаю рабту. Осталась одна незначительная деталь.

— Алло, Татьяна Михайловна? Здравствуйте. Это Александра Максимова, МТВ. Я бы хотела ещё выяснить у вас кое-какие подробности... — я накручивала провод на палец, расслабившись в кресле.

— Здравствуйте, Александра. Знаете... я тут подумала... я не буду давать никаких интервью.

Я подскочила, вдавивая локти в стол.

— Почему? Что вас смущает? — мой голос остался спокойным.

— Не буду... не хочу. Зачем? — беспомощно говорила она. — Что я скажу? У нас город маленький... И что я его оправдывать буду, что он Катьку-то убил? Нет, не буду. Пусть отвечает за всё. Посадили его, и хорошо.

— А вы навещаете его? Вы знаете, где он сейчас?

— В КПЗ, наверно...
— Он отбывает наказание. Уже месяц.
— Ну прирезали бы его там, и хорошо бы было...

Я подняла брови. Теперь я понимала, почему она оставила детей подыхать. Ей было всё равно. Просто. Всё-ра-в-но. И она не жалела их. И не чувствовала свою вину.

— Они меня шантажировать будут... им компенсацию нужно выплатить.

— Мы поможем вам её выплатить.

— Что вы тут мне лапшу вешаете? — внезапно закричала она. — Кто поможет матери убийцы?!

— Вы не нервничайте, Татьяна Михайловна. Если вы расскажи...

— Никто мне помогать не будет! Оставьте меня в покое! Не буду я ничего рассказывать! Никаких интервью давать не буду!

— Но...

Она бросила трубку. Я осталась совершенно обескураженной. Хватило меня лишь на тихое резюмирование: «Капец. Просто капец».

Павлова не было на месте. Подождав его с полчаса, я набрала его номер:

— Роман Петрович, вы мне нужны. Когда вы будете в редакции?

— Сейчас, сейчас приду. Договорю и приду.

«Сейчас приду» на языке Павлова значило «буду через час, не меньше».

Дождаясь Павлова, я думала над тем, как лучше построить разговор, что лучше сказать, чем замотивировать эту старую суку. Я была готова пообещать ей что угодно. Даже собственную почку, кстати.

Минут через двадцать Павлов влетел в редакцию. Он пробежался по всем сотрудникам, узнавая у каждого что-то по их историям. Ко мне он не подошел, заранее зная, что я скажу.

Я не торопилась. Я выпила таблетку. Стало практически всё равно.

Павлов. Павлов... Я наблюдала за ним. С другими мужчинами всегда всё было проще. Было просто понять, о чем они думают и чего хотят. О чем думает Павлов сейчас? О чем он думал в пятницу, когда я лежала на его рабочем столе? А сейчас? Самоконтроль?.. Павлов возвел вокруг себя нерушимую стену, за которой пряталось безраздельное чувство одиночества. Одиночество. Оно стало для него как нечто нормальное, как нечто само собой разумеющееся. И это не был самоконтроль — всего лишь банальный страх того, что кто-то нарушит его привычный строй вещей, нарушит привычный

ему мир. Он попробует на вкус что-то, что не бывало никогда на его языке; он поймёт, как статична была его расчерченная по графику жизнь. А когда все закончится, не останется ни его привычного мира, ни нового. Ничего. Останется дыра. И привычное одиночество будет невыносимо.

Я села перед ним молча.

— Что? В отказе? — не глядя на меня, спросил он.

— Да, — сказала я тихо.

— Ну, значит, вы недостаточно хорошо её мотивировали.

Я напряженно посмотрела на него. Встала.

— Вы умеете ободрить. И повысить самооценку.

— Я не должен вас ободрять! — грустно крикнул он мне в спину.

— Да, Рома. Не должны.

Через полчаса я пришла к нему сказать, что я позвоню ей еще раз. Он нервно закивал:

— Хорошо, хорошо... вы... не расстраивайтесь.

Я ничего ему не ответила.

Несколько дней назад он целый час успокаивал стажёрку, персонажи которой отказались сниматься. Я прикусила губу, глядя на него.

— Я не расстраиваюсь, Ром. И, кстати, этот галстук тебе не идёт.

18

— **ТАТЬЯНА** Михайловна? Это снова Александра. Я не знаю, чего вы так боитесь, неужели вы не хотите реабилитировать себя и своего сына? Если вы не скажете про него ничего хорошего, то кто скажет? Да, он получил по заслугам, да, вы не будете его оправдывать, но он выйдет из тюрьмы и есть разница: как к нему будут относиться, с какой репутацией он будет жить. Напрасно вы думаете, что наш фильм не сможет ничего изменить. Вы говорите, город маленький и люди знают всё на уровне слухов. Причём неприятных. И, возможно, неправдивых слухов. Есть разница: будут ли они знать всё на уровне слухов или же увидят, как всё было на самом деле. Ведь она доводила его, вы сами говорили, она оказывала на него психологическое давление, она спровоцировала его на убийство! Она сама довела его до этого! По поводу выплаты компенсации: я могу гарантировать, что мы подгоним вам спонсоров. И для вас — это реальный шанс. А как иначе? Кто будет выплачивать?

Вы? С вашей-то пенсией... Если вас что-то так уж смущает, хорошо, давайте вместе подумаем над тем, как максимально комфортно провести для вас съёмку. Давайте подумаем, сделаем так, как вам захочется. У вас просто нет поводов отказываться, со всех сторон для вас — выигрышная ситуация.

Я знала, что за моими словами ничего не стояло. Да, я лгу. И оправдание себе я искать не собираюсь. Все лгут. И это нормально.

— Не хочу я! Не хочу! — кричала мне в трубку Татьяна Михайловна. — Там дети были, а я... они теперь меня за это...

Да. Там были дети. И не было раскаяния. Только страх за себя. Даже если бы я раскрутила её на согласие, фильма бы все равно не получилось с той развязкой, которую хотел видеть Павлов.

— Оставьте меня в покое, я же сказала, что не буду участвовать!

Она опять бросила трубку. Моя командировка окончательно сорвалась.

— Ищите другие истории, — сказал мне на это Павлов.

Я злилась на себя. Злилась на его равнодушные. Злилась на всё. Истории? Будут вам истории. К вечеру я принесла ему подборку. Я села напротив него, но я не успела открыть рот, как он повернулся ко мне, покачал головой, издав уже привычное «блин».

— НУ, ЧТО?! ЧТО Я ОПЯТЬ СДЕЛАЛА НЕ ТАК?! — закричала я. Меня вконец все это задолбало.

— Говорите, говорите.

— Что говорите?! Что опять не так?! Мать вашу, меня всё это просто уже за... надоело мне всё это!

Я скомкала листы, швырнула ему на стол, достала сигарету.

— Да пошли вы все к чёртовой матери со своими, блин, историями, эмтэвэшники хреновы!

Я выбежала в холл. Закурила, стоя около большого окна. Гордость и предубеждение. Разочарование и непонимание. Я курила, ругая себя за проявление слабости. В любом случае Павлов будет прав. Он — босс. Я — подчинённый.

Вернувшись в редакцию, я села напротив него.

— Извините, Роман Петрович.

— Так что у вас за истории там были?

Я посмотрела на него.

— Нет, правда, извините. Я не должна была...

— Что за истории? Рассказывайте.

Я рассказала ему одну из историй про заказное убийство из ревности.

— Прозванивайте. Похожая история у нас уже была, но прозванивайте всё равно. У вас есть время до четверга. Вы же понимаете, что стажировка не вечная.

— Три дня?

— Ну да... три дня. Трудная у нас работа... может, вам стоит подумать, может, вам стоит попробовать себя в чем-то другом? Вы вообще чего хотите-то от жизни?

— Я вообще-то пишу... — сказала я своим обычным тихим низким голосом.

— Что пишете?

— Сценарии. Я занималась сценариями. Писала для похожей программы... как она называется? Из головы вылетело. Ну, по «Первому» идёт... Что-то типа «Час суда»...

— Программа, конечно, дерьмо. Но ничего, рейтинги высокие, люди смотрят... Может, тебе на «Культуре» поработать?

— Почему на «Культуре»?

— У нас тут вот всё так... а там что нервничать? Пишешь про выставки... Или в «Life News», хотя там тоже нужно в мыле бегать...

Я крутила в руках зажигалку, периодически подставляя на секунду палец под огонь.

Он недоверчиво посмотрел на меня.

— Ну у вас точно склонность к мазохизму. Это вообще нормально: сидите передо мной, пальцы себе жжёте?! Это нормально, по-вашему? Я-то ладно, я-то каких только не видел... И пирсинг лучше всё-таки вытащить.

— Нормально? — я отвела взгляд от огня и посмотрела на него. — Нормально? Хах. Скажите мне, Роман Петрович, насколько нормален тот факт, что два дня назад одна твоя рука была у меня на груди, а другая в трусах, и только сейчас ты спрашиваешь, чего я хочу от жизни и чем занимаюсь? Понятие «нормальности», видимо, у каждого разное, не так ли?

Он ничего не ответил. Я потёрла переносицу и после небольшой паузы спросила:

— Тебе правда нравится то, что ты делаешь?

Он поднял брови, задумываясь на несколько секунд.

— Да, а почему нет?

— Потому что вы манипулируете людьми. Вы заставляете их делать так, как хотите вы. Так-то товар имеет спрос, лучше продаётся.

— Неет. Мы ими не манипулируем. Мы лишь подталкиваем их на то, что они бы и так сделали.

Я не понимала, зачем он это сказал. Я знаю, что это не так. Он знает, что это не так. И, озву-

чив это, Павлов не хотел переубедить меня, он сам хотел в это поверить.

— Эти истории... каждая из них — шедевр. Это как романы классиков на тысячу страниц. Ты читаешь его в запой. Они интересны, они вызывают чувства, эмоции... То, что мы делаем, — это искусство. Там человеческие судьбы. Если бы это было неинтересно, никто бы это не смотрел.

Я удивленно посмотрела на него, пытаюсь отыскать тень иронии. Но её не было.

Павлов действительно сравнивал «Обвинительное заключение» с романами классиков. Мне хотелось спросить, а понимает ли он, какое интеллектуальное развитие у людей, которые смотрят эту программу? Которым интересно смотреть на людей, стоящих ниже по социальной лестнице. Или, скорее всего, на одной ступени с ними. Но я промолчала. Если он и впрямь верит в то, что говорит, зачем мне рассказывать ребёнку, что Деда Мороза нет?

— Но, если у вас есть желание, если вы готовы пробовать дальше, вам нужно прийти к Лисицыну и попросить продлить вам стажировку. Потому что он оценил вашу работу на «неудовлетворительно».

— Что?! Да я практически уже летела в Иркутск!

— Но вот сорвалось... Вы ему скажите, чтобы он дал вам ещё две недели и что за эти две недели вы обязательно найдёте и снимите супер-блокбастер.

— Я подумаю.

— Вы подумайте.

— Вика! — окликнул он проходящую мимо Вику, которая занималась кадрами. — Возобновите набор стажёров, пожалуйста.

Это было унижительно.

Когда он орал на меня, передразнивал, я знала, что всё нормально. Но когда он говорил таким спокойным тоном... это значило, что ситуация находится в сфинктеральной зоне.

И где *ты* сейчас? Ты больше не хочешь поймать весь мир, поймать Павлова? Скажи, что мне делать. Заставь меня это сделать. Я не буду сопротивляться. Я хочу этого. Иди к Лисицыну и заставь его думать, что ты нужна этой программе, этому каналу, как никто другой.

— Маш, пойдём покурим.

Мы вышли с Машкой в курилку.

— Вообще странно, что так с тобой случилось.

— Да. Странно, — я смотрела перед собой затуманенным взглядом.

— Эту, как её... Ну, блин, ту... ну, помнишь, пришла к нам неделю назад, как её зовут-то... Ира, кажется.

— Ну. И?

— Ну что и? Её взяли. Я вообще не понимаю почему. Делать ничего не умеет. — Машка прикурила, наморщив лоб. — Ты слышала, как она с персонажами разговаривает? Она мысль толком не может свою сформулировать... а её взяли. Она в поле немного поработала, и её взяли.

— Ну я рада за неё.

Машка внезапно захихикала:

— А! Я поняла! Она, наверно, Лисицыну дала! Больше разумных объяснений у меня нет. Ну правда. Я не понимаю, почему её взяли.

— Дала Лисицыну... — повторила я в прострации. — А я думала, он по мальчикам прикалывается.

— Ну, может, и по мальчикам тоже... Видела, как он с Павловым любит обниматься?

— Нда... с Павловым...

Переспала с Лисицыным? Нет, конечно. Она полная и несимпатичная, эта Ира... Переспала с Лисицыным, чтобы получить эту работу... Переспала...

Машка докурила и ушла. А я стояла уже с дотлевшей сигаретой, смотря в одну точку. В голове у меня крутилось только одно слово «переспала».

Я зашла в уборную. Поправила макияж и причёску. Отражение в зеркале улыбнулось. Получилось достаточно уныло. Я посмотрела на телефон. Мама, пожалуйста, позвони мне сейчас. Позвони мне сейчас. Телефон смотрел на меня своим погасшим экраном. Я посмотрела ещё раз в зеркало и увидела точно такие же погасшие глаза.

Лисицын был у себя. Он сидел за большим чёрным столом, поглаживая себя по одному из подбородков, что-то смотрел на экране компьютера.

— Анатолий Сергеевич. Я бы хотела поговорить с вами по поводу моей стажировки, — сказала я, ненавязчиво расстёгивая пуговицу на блузке...

19

— **СЕЙЧАС ИДИ В РЕДАКЦИЮ**, я позвоню, чтобы тебя оформили в штат, — его толстые пальцы нащупали собачку на молнии брюк.

— А не возникнет вопросов: с чего вдруг? То вы были мною недовольны, то вдруг стали довольны.

Он усмехнулся.

— Был не доволен, стал доволен, — он надел пиджак. — В этом мире всё меняется, да? Ну ладно. Иди, красotka.

20

...В ТОТ ВЕЧЕР. Летний. Тёплый. Коленки болели от ссадин, полученных во дворе, и волосы пахли солнцем. Середина июня.

В этот вечер отец был пьян.

Он выбил бумаги из рук мамы и ударил её по лицу.

— Ехать, значит, собрались! С доченькой вместе! В Европу! А я тут горбатиться буду! Да хрен вам всем!

— Дим, ты что?! — Мама выглядела как беспомощный ребёнок. У неё заблестели глаза, она дрожала, держась за красное пятно на щеке. Под пальцы закатывалась слезинка.

Я сидела в своей комнате. Пощечина прозвучала как выстрел.

Он ещё раз ударил её. Маму отбросило к стене. На белые виниловые обои брызнула кровь.

— Не смей её трогать, урод!

Я вбежала в комнату и встала между ним и мамой в тот момент, когда он в третий раз занес руку, готовый разможжить наши головы по стене. Чтобы боль, чтобы кровь, чтобы мясо врезалось в кости. Чтобы страх. Чтобы показать: ОН тут главный. Он всегда хотел стать главным в нашей семье.

Ему не давала покоя одна деталь. Одна маленькая деталь: разная кровь, разная природа. Моя мама родилась в простой, не слишком богатой семье. Отца задевало то, что она зарабатывала больше, чем он. Его задевало то, что когда-то она вытащила его из ямы. Но с одним фактом он не мог примириться: она добилась всего честным путём, её не за что было упрекнуть, её не за что было возить лицом в грязи. Она ни разу не упрекнула его ни в чем: ни в том, что мы остались по его милости на улице, ни в том, что он бросил нас после этого. Мама ни разу не упомянула о том, как он приполз к нам за помощью. Она работала следователем в то время, как он ушел из милиции в рэкет. И вот именно это его бесило больше всего: что бы он ни делал, она никогда не встанет с ним на одну ступень. Может, если бы она брала взятки, у нас не было бы скандалов в доме.

Я стояла между ним и мамой. Вот я — ребёнок, которого хотели и ждали. Вот я — дитя

любви, рождённое от следователя и бандита. И я подумала, что сейчас мир для меня становится именно таким, каким он должен быть с самого начала. Расколотым. Правильным в своей неправильности. Искажённым. Уродливым.

Я всегда прощала ему всё. Я любила его. Он был нужен мне. Но. Хватит.

В тот момент я поняла, что если я не отрежу от себя *его* половину (*ты не сможешь*), то сгнию, как гниёт он (*я — это ты*). В тот момент я поняла, что насколько сильной ни была бы мама, она не может защитить себя от человека, которого любит. Значит, это сделаю я. *Это сделаю Я. Не ты.*

Сердце стучало настолько сильно, что звенело в голове. Ноздри раздувались, не хватало воздуха. И тут я почувствовала боль в груди, словно кто-то разрывал моё сердце на две части. Боль распространялась по животу, ногам, коленям, ступням, по рукам и шее. Каждая клетка моего тела горела. Когда волна дошла до глаз, боль стала невыносима. Я зажмурилась и закинула голову назад. Когда я опустила её обратно, я видела только красное полотно ярости. Я была готова. В том малолетнем возрасте я уже была готова кинуться, задушить собственного отца и кого угодно, кто поднимет на мою маму руку. Я была готова бить кого угодно до кровавых соплей, до той минуты, пока он не начнёт выхаркивать собственные почки, пока не начнёт задыхаться в луже собственной крови, я была готова. В любой момент.

Я побелела от ярости. И именно тогда меня не стало.

— Не смей её трогать! Или... я убью тебя, — прошипела я сквозь зубы.

На секунду отец остановился. Он посмотрел на меня, помедлил и ударил наотмашь. Мне показалось, что моя голова отрывается, жилы на шее натянулись, готовые порваться, из носа потекла струйка крови. У меня закружилась голова, но я медленно повернула её обратно. После этого случая я часто дралась, и мне доставалось куда сильнее, но этот удар был самым болезненным и болезненным.

Я в упор смотрела на него. Воздух свистел, втягиваясь в мои ноздри. Он отпихнул меня, я упала на диван рядом с мамой. Когда он приблизился к ней, я упала на неё, расставив руки, глядя на отца. Мама дрожала и совершенно не понимала, что происходит.

— Да ты вообще не моя дочка! — заорал он высоким истеричным голосом. Последняя карта

была выплюнута из рукава. — Ты вообще не должна была родиться! Ты должна была сдохнуть ещё в утробе своей мамы! Вместе с ней должны были сдохнуть!

Сейчас мне хочется спросить его: «А с тобой бы интересно что стало? Пристрелили бы тебя, как псину, вот и всё. И не вспомнил бы никто. Мама тебя вытянула из этого дерьма, когда ты вернулся к нам на своём „жигулёнке“ без денег, жилья и, слава богу, без тришпера. Что, конечно, удивляет. Что бы с тобой стало, если не я? Я — то звено, которое соединяло вас. Что бы стало?».

Но тогда он был прав. Когда моя мама была на пятом месяце беременности, она заболела. Врачи разводили руками. Они говорили ей, что она должна избавиться от ребёнка, иначе не выживет ни ребёнок, ни она. Но что значит для матери взять и убить собственное дитя, которое ты ждёшь, которое ты любишь, у которого уже есть пальчики на ручках и сердечко в груди? Да, я не должна была рождаться. Но я родилась. И случайностей в этом мире не бывает.

И сейчас он видел, что я не боюсь его. Я не забиваюсь в угол, как щенок. Он видел, что не может меня подавить, как он подавлял маму. Его лицо побагровело, кадык заходил. Только глаза оставались неподвижными, словно они были застелены безобразной пеленой бешенства.

Он бросился на меня, схватил за шею и начал сдавливать её обеими руками. Я вырывалась, слезы мешались с кровавыми соплями, нос надувал светло-розовые пузыри.

— Что ты вообще такое говоришь? — рыдая выкрикнула мама. — С чего ты взял, что она не твоя? — она пыталась освободить меня от него.

Отец оставил мою шею. Я всё ещё задыхалась. И, кашляя, я отхаркивала всё хорошее, что у меня когда-то было по отношению к нему.

— В ней нет ничего от меня! Она твой выродок! Твоя, сука, плоть и кровь!

— Мам, беги... беги к соседям, — шептала я, всё ещё задыхаясь.

Но мама не могла пошевелиться. Её руки нервно тряслись, прикасаясь к красной горячей щеке.

Через секунду, когда отец вновь кинулся на нас, я пнула его в живот, схватила маму за руку. И мы выбежали на лестничную площадку босиком, захлопнув дверь.

— Беги вниз! К соседям! — кричала я маме, закрывая дверь на ключ.

Из других квартир показывались испуганные лица. Увидев нас, они тут же хлопывали

свои двери и запирались на все замки. Отец что-то орал, пытаясь выломать дверь.

Одна, две, три, пятнадцать ступенек, мы сбегали вниз. Я не чувствовала своих коленей. Они болели и ныли, суставы внутри словно разрывались, а вены лопались...

До сих пор я не помню, когда последний раз называла его «папой». Он не учил меня говорить, ходить, кататься на велосипеде, играть на гитаре. Но он научил меня тому, что определило мою жизнь, — ненависти. Позже я узнаю о влюблённости, разочаровании, страхе и отращении. Но сначала о ненависти, которая разъедает изнутри, как цианид, жжёт, оставляя подпаленные края и запах горелой кожи. Я ненавижу его и себя. За то, что во мне течёт и его кровь. И панацеи от этого нет.

21

У МЕНЯ ВЗЯЛИ ПАСПОРТ, отсканировали; я подписала несколько документов. И всё. Всё так просто. Теперь я тут работаю.

Я ставила свой иероглиф, не чувствуя ни волнения, ни радости. Я понимала, что вот я добилась того, чего хотела. И это было для меня не большим событием, чем в полдень сходить за молоком. Не важны средства. Важна цель. *Чем я лучше него...*

С Павловым я старалась лишний раз не встречаться. Мне казалось, что он может залезть ко мне в голову, прочесть мои мысли. Когда наши глаза встретились, я ждала брезгливости. Но в них не было ничего. Словно он ничего не знал. А я знала, что он знает. И я ждала отращения, потому что его заслужила.

Когда глаза Павлова смотрели на меня, не выражая ничего, я поняла, что Женя был прав. Я шлюха. И цена мне действительно была определена. Я — вещь. Я — материал. Который можно использовать, и ничего страшного в этом быть не может.

Я пришла домой. Приняла душ. Походила, начала смотреть фильм. Не досмотрела. Начала читать, но дальше первой страницы я не смогла уйти. Что за книга? О чем я читаю? Я набрала себе ванну, налила виски и поставила Дженис. Я хотела заставить себя плакать, но не смогла. Потому что мне не было себя жалко.

Вода в ванне давно уже остыла. стакан виски стоял нетронутым. Дженис давно замолчала. Я сидела в холодной воде, держась за колени руками.

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО ровно в 9:00 я открыла дверь редакции. Со значимым и безразличным выражением лица я пошла мимо столов сотрудников, кивком отвечая на приветствие. Я не чувствовала ни радости, ни эйфории. Ровным счётом я не чувствовала ничего.

Подойдя к своему столу, я положила на него сумку, не глядя ни на кого. Позже в курилке Машка поздравит меня и спросит, как я это сделала.

— Помнишь, что нам говорил Рома? Нет ничего невозможного.

Машка кивнула. Она, слегка прищурившись, посмотрела на меня, но спрашивать больше ничего не стала.

Дальше всё было просто. Больше не было никаких препятствий в виде моральных ценностей. Я находила истории, раскручивала их и снимала. Больше меня не волновало то, что чувствует герой, более того, я не допускала мысли, что он может что-то чувствовать. Я распоряжалась на площадке, закрывала рот оператору, если он возражал против моей схемы построения в кадре. Я объясняла персонажам, как они должны себя вести: что им говорить, как смотреть, где плакать.

— Мы же для людей снимаем. А они захотят увидеть это. Так что давайте полистайте фотографии вашей дочки, поплачьте. Но сначала мы запишем синхрон... Костя, готов? Сколько можно настраивать эту чёртову камеру? — Я стояла посередине кухни, в квартире моего героя. Кухня была маленькой, пошарпанной, мои шёлковые свободные брюки и парчовый жакет последней коллекции контрастировали с общей обстановкой. Логотипы телекомпании добивали эту несчастную кухню вместе с её обитательницей.

Оператор Костя годился мне в отцы, но тихо и безропотно он выполнял мои требования, бурча что-то себе под нос.

— Ещё дубль.

— Зачем? Нормально же сняли.

— Я говорю, ещё дубль! Мне не нравится. Дай посмотреть... ну вот. Вот, видишь? Она в камеру смотрит периодически. А этого она делать не должна. Ну, твою мать, Костя! Ещё раз давай. Так, Нина Сергеевна, вы готовы? Хорошо. Ещё раз расскажите: что произошло с вашей дочкой.

Нина Сергеевна замешкалась немного, задела стол, уронила чашку, разлила чай, изви-

няясь за каждое своё движение. Я закатывала глаза, материлась про себя, и, размахивая листами, говорила ей, что именно хочу от неё получить.

— Давайте сосредоточьтесь... Костя, времени у нас мало. Ещё ни лайф, ни интервью не записали... ещё же в больницу ехать, девочку эту снимать... времени в обрез, так, Нина Сергеевна, готовы? Сядьте лучше.

Нина Сергеевна рассказывала о том, как её дочь изнасиловал и избил её отчим — муж Нины Сергеевны. Выяснилось, что он издевался над девочкой уже несколько лет, а мать ничего про это не знала.

— Когда вы узнали об этом?

— Да, вот... Леночка не рассказывала. Он угрожал ей, что квартиру подожжет и меня убьёт... Я как-то заметила синяки у неё на шее. Но она всё отнекивалась, не говорила, откуда они. А потом я прихожу домой и вижу — она... лежит... места на ней живого не было.

— На ней была одежда?

— Маечка порванная какая-то... В крови вся.

— А как вы поняли, что её изнасиловали?

— Так... на ней трусиков не было... вот и подумала... Ой, ужас какой, просто ужас... — Нина Сергеевна прикрыла рот ладонью, на глазах выступили слёзы.

— А муж где ваш был?

— А он пьяный лежал. Я к нему подбегаю, трясую его, спрашиваю: что случилось? Кто это с Леночкой сделал? А он в себя не приходит, как бревно лежит, и всё тут...

— Вы «скорую» вызвали?

— Да, я. Они Леночку забрали... Она пока не разговаривает... Он ей... он ударил так, что она язык прикусила... почти откусила. Челюсть, конечно, сломал. Несколько рёбер сломал. Лёгкое пробил. Он ножом её пырнул. И ножку одну сломал. И захожу в квартиру, а она прям в коридоре лежит, рука так вывернута, наизнанку прям, не знаю как. Не дай бог никому так увидеть ребёнка своего, — она заплакала. — Я молилась, чтобы она выжила! Её в больницу забрали, доктор мне сказал, что шансы есть, что она выживет, но крови много потеряла и лёгкое пробито... и ранение в живот... может не выжить. Я упала на колени и тут же давай молиться, Бога просить, чтобы оставил мою девочку!

Нина Сергеевна рыдала. Получалась неплохая картинка. Я продолжала задавать вопросы.

— Сейчас она уже пришла в сознание?

— Да, пришла. Но не разговаривает совсем.

— А как она сказала тогда, что это отчим её изнасиловал и избил?

— Написала она. Я около её кровати сидела, не отходила. Вижу, глазки открывает. Я заплакала, Бога благодарить стала, что он молитвы мои услышал... Ну вот я и спросила: кто это с тобой сделал, Леночка? Чтоб у него руки и ноги отсохли, сволочь. Она показывает мне на ручку. И написала кое-как.

— Что вы почувствовали?

— Я в шоке была, если честно. Я прям...

— А как вы могли не знать, что он насиловал её уже три года? Сколько ей тогда было?

— Семнадцать...

— Как получилось, что вы не знали об этом?

— Не хотела замечать, наверно... Я же любила его...

— А сейчас?

— ...Я до сих пор не могу поверить, что это он сделал... я не знаю...

— Да он, он. Сперма его. Так, ладно, Костя, всё. Лайфик давай ещё. И закругляемся. Нина Сергеевна, вы ходите тут, посуду помойте, чай налейте, про детство её расскажите... потом поедem вместе к Лене.

Мы сели в серебристую машину с надписью «Останкино». Погода за окном была пасмурная, холодная, почти такая же, как в первый день моей стажировки. Я молча смотрела в окно машины. Был выходной, и мы без пробок ехали по Дмитровскому шоссе. Я знаю этот район. Очень хорошо знаю. Я жила тут два года. Всё те же магазины, всё те же кафе, всё те же фонари около дороги. Я почти видела себя: как я иду в своих безразмерных джинсах с красным рюкзачком. Я почти слышала, что играет у меня в наушниках. Я ни о чём не задумывалась, всё было просто. Я училась на первом курсе и, кажется, была в кого-то влюблена. Хотя не помню точно в кого. Я видела эту ещё не повзрослевшую Сашеньку с растрепанными волосами и погрызенными ногтями. Она остановилась, глядя на девушку в проезжающей машине. Та девушка была молода, но выглядела старше своих лет — глаза слишком усталые. Спокойная, серьёзная, бледная. У неё был дорогой маникюр, аккуратная укладка и сумка за полторы тысячи долларов. Она прикуривала сигарету, и её пальцы блестели. Она посмотрела на Сашеньку мельком, как на кучу мусора. Машина проехала. Сашенька таяла в зеркале заднего вида.

Бред какой-то.

Я выкинула сигарету. Мы подъехали к больнице.

— Есть разрешение снимать? — спросил Костя, закидывая сумку на плечо.

— Конечно. И врача мы тоже запишем.

Мы поднимались в палату. На нас пялились больные из приоткрытых дверей. Те, кто мог ходить, вышли в коридор, мялись, держась за стены. Я, стуча каблуками, шла впереди, не обращая ни на кого внимания.

Леночка лежала под капельницей. Я немного растерянно обернулась:

— Я думала, она лучше выглядит. Чёрт, да у неё не лицо, а синяк! Это как мы показывать будем?

Костя развёл руками.

— Блин... ну, был у меня тональный крем где-то, сейчас, — я рылась в сумочке. — Сейчас попробую замазать хоть что-нибудь... Кость, выбери пока ракурс, с которого будет меньше заметен её плачевный вид. Нина Сергеевна, подождите причитать, подождите. Костя ещё камеру не настроил.

Камера была настроена. Полтюбика крема было выдавлено.

— Так, Нина Сергеевна, поехали.

Мы снимали то, как она ухаживает за дочкой, плачет, причитает. Как она ставит рамку с фотографией и цветы на тумбочку. Снимали девочку, которая не могла пошевелинуться, а только беспомощно смотрела то в камеру, то на мать.

— Не, ну так дело не пойдёт, — шепнула я Косте. — Не хватает драматизма. Дожать их нужно... Нина Сергеевна, — сказала я уже громче, — вы можете попросить вашу дочь что-нибудь сказать?

— Но она же не говорит...

— Ну, что-то от языка же осталось. Пусть попробует. Давайте.

— Леночка, скажи что-нибудь...

— Пусть скажет «мама».

— Леночка, скажи «мама».

— Давай, Лен, ты сможешь, — я стояла напротив кровати, скрестив руки. Мои глаза блестели в ожидании шедеврального кадра.

Лена смотрела испуганно и беспомощно. Она пыталась открыть рот, её бледные потрепавшиеся губы дрожали и кривились.

«Не скажет», — подумала я и повернулась к Косте, махнув ему рукой — отбой.

— Ма-а.

Я резко повернулась:

— Это она сказала? Ты сказала? Повтори! Костя, Костя, давай!

— Ма-ма... ма-ма... ма-ма... — говорила она нечётко, изо рта вытекали розоватые слюни,

редкие брови нервно собирали морщинки на лбу. Она молящим взглядом смотрела на мать, как покалеченное животное в цирке смотрит на своего дрессировщика.

Потом она посмотрела на меня, не переставая повторять «мама». Она была почти одного возраста со мной. Леночка хотела стать актрисой, как говорила её мать. Эта девушка смотрела на меня, как на нечто божественное, нечто, посланное ей Богом. Нечто, что спасёт её, поможет вновь стать красивой, молодой и талантливой. *Я — божество, посланное ей свыше.*

Я стояла, сжимая пальцы. Уголок рта нервно дёрнулся. От жалости, от отвращения. К ней? Нет. Ма-ма... ма-ма... ма-ма... Я смотрела на неё, понимая, что все её мечты рухнули, разлетелись, что она навсегда останется инвалидом, не способным даже купить хлеб без посторонней помощи. А в театр она сможет попасть только как зритель. И «Щука» останется для неё ещё дальше, чем Эверест.

— Так. Всё. Хватит, — я резким тоном прервала её. — Костя, идём к врачу. Нина Сергеевна, спасибо, я ещё с вами свяжусь. Мда... — я взглянула на Лену, уже открывая дверь и перешагивая через порог. Наши взгляды встретились, и я испытала страх. Обжигающий и беспомощный. Она незримо цеплялась за мой жакет, за мои брюки, волосы и руки. Я невольно и брезгливо отряхнула рукав. На секунду я замерла: в глазах Лены я увидела Брониславскую. В её глазах я увидела инвалида. Я могу говорить, двигаться, я могу беспрепятственно чувствовать поцелуи на своей шее, я могу смеяться и заниматься любовью, получая удовольствие. На раз. Но на два... ведь внутри я выгляжу так, как она выглядит снаружи — как портрет Грея. Внутри. Выжжено. Искалечено. *Почти безвозвратно. Почти. Почти? Кто это делает? Это делаешь ты?* Нет. Я сама. Не задумываясь. Позволяя другим думать за меня. Позволяя им говорить мне: что в этой гребаной жизни хорошо, а что плохо; что продаётся, а что нет. Три белых буквы на зелёном фоне, вы того стоите?!

И это маленькое искалеченное уродливое создание не сможет никогда стать актрисой и даже продавцом из-за стечения обстоятельств. Животных, грязных. А я? Какие у меня оправдания?

После съёмок я пошла в кафе, заказала себе двойную порцию виски и стала пересматривать кадры, которые снимала для себя на iPad. Я надеялась на наушники, я включила звук на полную

громкость, но я не могла выкинуть из головы это беспомощное «мама». Оно проходило через мою голову, глаза и уши. Звенело, нарастало, стихало. Потом врывалось... и я почувствовала... *Что? Что я чувствую?* Это похоже на... сожаление. Я испытывала подобное чувство после того, как лишилась девственности. Но сейчас... мне хотелось опять разбить стекло, порезать руки, содрать с себя кожу, почувствовать *физическую боль*, чтобы только не слышать в своей голове дрожащий голос, походящий на утробный стон: «Ма-ма... ма.. ма...».

Я провела руками по лицу, позвонила Роме. Сказала, что всё сняли, всё здорово.

Павлов больше не критиковал меня. Больше мы не играли с ним в игры. Хотя... иногда я украдкой наблюдала за ним. За его мимикой, резкими движениями; как он пьёт кофе, кричит и издевается над новыми стажерами. Он остался прежним. Все с теми же грустными глазами.

Я позвонила ему, хотя делать это было не обязательно. Но только его голос мог тогда меня успокоить. Он как всегда говорил быстро и только о работе. Мне хотелось спросить у него: «Боже мой, Рома, что я делаю?». Но вряд ли у него нашёлся бы ответ. Вряд ли он бы понял вопрос.

В понедельник моя плёнка оказалась в монтажной на расшифровке, днем я отсмотрела материал, вечером смонтированный сюжет лежал на столе у Павлова. Он внимательно смотрел.

— Отличный фильм, Александра.

— Да, Роман.

— У вас неплохо получается, — сказал он мне, но я уже ушла и услышала только обрывок комплимента.

Остановилась. Повернулась. Подошла опять к нему.

— Значит, он выйдет?

— Да. Конечно.

— Когда?

— На следующей неделе. У вас там ещё истории есть. Давайте, давайте раскручивайте.

Я постояла, стуча ногтями по его столу. Посмотрела на него, прищурился один глаз, но больше ничего не сказала.

После работы я попросила его подбросить меня домой. Мы ехали всё по тому же шоссе. Он вел машину быстро и мягко. Всю дорогу мы молчали. Я подумала, что, если мы сейчас разобьёмся, мир станет немного лучше. Хотя смерть эмтэвэшника — это не смерть заслуженного ак-

тёра. Никто не будет целый день стоять на кладбище с цветами. И никто не будет вспоминать.

Я спокойно вышла из машины, попрощалась с Павловым.

Ключ вошёл в скважину, два оборота, щелчок, дверь открылась. Стук каблучков по паркету, ручка на двери дёрнулась. Щелчок.

Наружу.

Сначала у меня задрожали пальцы. Потом колени. Плечи. Всё тело. словно через него пропускали ток. Дрожь спутывалась, искрилась, обжигала, комкалась, вырывалась из каждой клетки и, дойдя до горла, вырвалась клокочущим, задыхающимся воплем.

Всё это не со мной.

Я сорвала с себя одежду. Мне казалось, что всё мое тело покрыто липкой блевотной массой. *Тошнота.* Я судорожно пыталась открыть воду в душе, насадка скользила и падала, я тёрла себя мочалкой, пока на коже не остались красные царапины. *La pausee.* Я не могла смыть её с себя. Я вышла из ванной, всё ещё дрожа. Холодно.

Я шла, оставляя за собой мокрые следы, которые, как мне казалось, воняют разлагающимся телом. Не запивая, проглотила несколько колёс «Имипрамина», доползла до кровати и дрожа уснула. Уснула? Не помню. Перед глазами всё плыло, смешивалось, иногда яркие краски вырывались из темноты и всё тот же запах блевотины. Остановись, слышишь? Остановись! Это не ты.

Ты меня любишь?

Сука... Ты — сука! Тварь. Ненави...

Но ведь это не я, а ты. Это ты.

Да. Это я. Я! Я! Я!

Ма-ма... ма-ма... ма... ма... а... ма... Да, это ЯЯЯ! Ты классно работаешь. У тебя хорошо получается... *ма-ма... ма-ма...* Раскручивай, снимай. ЗАРАБАТЫВАЙ! *Ма-ма... ма-ма... ма-ма...* Ненавижу тебя... *но ведь это не ты, а я, не я, а ты.* Пожарник. Горит. Сжечь! Сжечь! Сжечь! Ты классно работаешь. Ты просто супер-сучка-МТВ...

23

Я НЕ ПОЕХАЛА в «Останкино» на следующий день.

Я не поехала в «Останкино» через день.

Я лежала дома на кровати, не включая компьютер, не включая iPad, не включая телефон. Я лежала в тёмной комнате, не поднимая штор. Я не выходила на улицу. Я пила холодный чай и

много курила. Пепельница стала напоминать ежа.

Несколько дней. Несколько дней тошноты. Я бежала в туалет, но блевать было нечем. Из меня выливалась только желчь. От неё становилось горько. Во рту. Я закидывалась транквилизаторами и весь день лежала на кровати. Я не понимала: сплю я или бодрствую. Как сон перед мной стали появляться картины: как я первый раз иду в «Останкино», как я первый раз вижу Павлова, как меня охватывает паника, как я волнуюсь, как всё было... иначе. И он смотрит на меня своими глазами голубыми, грустными. Не смотри на меня больше! Не смотри! Ты больше не должен на меня так смотреть! Ты не можешь больше на меня так смотреть... Мне хотелось плакать. Но я не могла выдавить из себя ничего. Кроме желчи. Это походило на кошмар. Снится? Нет. Когда я проснусь? *Саш, когда ты проснёшься?*

Я открыла глаза. За окном щебетала птица. Сквозь тяжёлые шторы пробивался дистрофический лучик света. Я повернула голову, посмотрев на часы. Мне было страшно от того, что я опять почувствую запах блевотины и горелого, что меня опять начнёт тошнить, что у меня опять перед глазами будут прыгать резкими скачками и расплываться кадры из моей (*прошлой?*) жизни. Но ничего этого не было. Кроме одной мысли. Мысли, которая, как хлорка, выполоскала из меня всё это дерьмо. Единственная мысль. Она есть, следовательно, я существую.

Я сделала макияж, укладку, надела своё любимое платье, каблучки и белую норку. В наушниках играл Дилан. *Like A Rolling Stone: когда-то ты так хорошо одевалась и, проходя мимо нищих, бросала им монетки. Помнишь?*

Не торопясь передо мной раскрылись стеклянные двери с надписью «Останкино».

На пропускном пункте я подала охраннику пропуск, хотя он и так уже помнил, как меня зовут.

— Какие руки у вас холодные.

— Такие же, как сердце, — машинально ответила я, улыбнувшись.

— Кто же вам сердце разбил?

Склонив слегка голову набок, я могла сказать ему точное имя этого человека, точный возраст, цвет глаз и точный рост: Александра Максимова, двадцать один год, глаза каре-зелёные, рост 173 сантиметра. Иронично.

Я прошла мимо кофейни по длинному узкому коридору с фотографиями на стенах, вышла

в большой холл с маленькими чёрными столиками и креслами, поднялась по ступенькам, свернула налево, поздоровалась с охранником и вошла в редакцию. Павлов разговаривал с кем-то. Увидев меня, он не сдержал улыбки. Я прошла к своему столу, за которым уже сидела новая стажёрка.

— У нас тут новые стажёры, стол ваш заняли... — как бы извиняясь, сказал Рома. — Сейчас мы вам место найдём. Вы заболели, наверно, да? Наташа, там свободный компьютер...

— Ром...

— Включи, посмотри... Ну, включи, может, он опять не пашет...

— Ром, не надо, — сказала я тихо. — Я за вещами. Я не буду тут работать.

— Аа, — на секунду он замолчал, бессмысленно глядя на мои ботильоны.

У него в кабинке сидела ещё одна стажёрка, с которой он проводил собеседование.

Я выглянула из-за перегородки, как я это делала в самом начале своей практики.

— Роман Петрович, как освободитесь, приходите. Я жду вас в кафе напротив.

— Да, конечно. Ещё буквально десять минут.

В кафе я зашла уже как посетитель. Заказала себе кофе, прикурила, глядя в окно. Что за ним было, я не видела. Мне больше не хотелось думать об «Обвинительном заключении». Я оставила его, как я оставляю любовников. Без сожаления. Только на этот раз выпивали меня. И тогда, сидя за столом, поставив пепельницу на идеально белую скатерть, я думала: «Что это? Смелость? Инстинкт самосохранения? Или просто слабость?».

Первый раз за несколько месяцев я почувствовала, что я *дышу*. Это было правильно.

Осталось только одно.

Я думала о том, что хочу сказать Павлову. Или, может, спросить? Или предложить? Пожелать?

Он пришёл с какой-то книгой в руках, нервно перебирая страницы. Сел напротив меня и, не отрывая глаз от твердой обложки, спросил:

— Так о чём вы хотели поговорить, Александра?

— Что за книгу вы тут притащили мне? — спросила я улыбаясь.

— Да, вот мне подарили...

— Дайте, — я забрала книгу из его рук. Полистала, пробежалась глазами по первой странице. Обычно хватает несколько строк для того, чтобы понять: стоит книга, чтобы её читали, или не стоит. Эта не стоила. Павлову я об этом не ска-

зала. Но он понял это по выражению моего лица.

— Обложка хорошая...

Я посмотрела обложку.

— Я бы так не сказала.

Он увидел синеватый шрам от пореза на моей руке, спросил, был ли это суицид.

— Конечно нет. Это я случайно...

Он засмеялся.

— Ну да. Стекло разбили. В истерике.

Я тоже засмеялась.

— Ну, вы берегите себя. Ножки, ручки... в следующий раз, когда будете истерить, старайтесь по чему-нибудь мягкому бить. По подушкам, например.

Я опять засмеялась, хотела сказать, что по подушкам бить не интересно, но промолчала — он опять скажет, что у меня склонность к мазохизму.

— И вы опять в чулках? Рано же ещё чулки носить. Я понимаю, что это красиво, но рано же ещё. Холодно на улице.

Я попросила рассказать его про историю, когда на него подала в суд одна дама, которой он якобы представился следователем, записал их разговор и только после этого сказал, что он корреспондент МТВ.

— Я не представлялся ей следователем. Она сама так подумала. Достаточно себя вести соответственно, и всё. Врать нехорошо. И закон нарушать. Мы его не нарушаем.

— Ну да, — сказала я скептически. — Вы только подталкиваете...

— Вы звоните, если найдете что-нибудь интересное.

— Вы тоже.

— Хорошо! — рассмеялся он.

Мы прекрасно понимали, что никто из нас никому не позвонит. И что видимся мы в последний раз.

— Проводите меня до выхода.

Мы спустились в холл.

— До свидания, Александра.

— До свидания, Роман Петрович.

Мне хотелось его обнять. По-детски и неуклюже. Хотелось поблагодарить непонятно за что.

Но я только крепко пожала ему руку.

И вот я иду по телецентру «Останкино» в белой норке. Стук моих каблучков отскакивает от мраморного пола и бьётся об стены большого холла; я поворачиваюсь, чтобы послать воздушный поцелуй Павлову. У меня на пальцах остаётся едва заметный след от губной помады, я

улыбаюсь, а он стоит в своём дорогом костюме, белой рубашке с запонками Diog, его руки на талии, он смотрит на меня своими большими грустными светло-голубыми глазами. И я, как всегда, не могу понять, о чем он думает...

Через месяц после того, как я ушла, я устроилась редактором новостей на радиостанцию.

Я переехала из нашей с Женей квартиры на Соколе. Переехала на «ВДНХ». Мои окна выходят на «Останкино». Ночью, когда я курю, я смотрю на освещённую несколькими прожекторами башню. Это как маяк, как напоминание. Останься я там, Сашенька бы действительно умерла, а Александра... её бы жизнь была, как жизнь мухи: короткая, бессмысленная и в дерьме. «Имипрамин» в любых дозах перестал бы действовать, и Александра превратилась бы в куклу на шарнирах, от которой не будет зависеть ни её существование, ни смерть.

«Останкино»...

«Останкино!»

«Останкино». Место, где осуществляются мечты! Где розовые тела рубцуются. Где рвутся девственные плевры.

Что-то щёлкнуло внутри меня и заиграло, как музыкальная шкатулка. *Ты чувствуешь? Да, я чувствую.*

Павлова я больше не видела. Я хотела ему позвонить несколько раз, но каждый раз передумывала. Я никогда не любила Павлова. Не испытывала к нему привязанность. Он просто напоминал мне *кого-то*... кого я любила. Слишком много времени. Слишком много боли и страха, и ненависти...

Слишком много, слишком грубо, слишком перепахано.

Но ни Павлов, ни Женя, ни кто-либо другой не мог заменить его.

Кто бы он ни был.

Чем бы он ни занимался.

Как бы ни выглядел... Я — ничем не лучше. И никто не лучше.

24

НА ЧАСАХ БЫЛО семь утра по Москве. Я ещё не ложилась спать. Взяв телефон, я набрала номер, который не набирала порядка десяти лет.

— Алло, пап? Привет. Есть минутка? Я хочу тебе рассказать, как я работала в О...